ИЗБРАННЫЙ

БЕРНИС РУБЕНС



ИЗБРАННЫЙ

БЕРНИС РУБЕНС

Избранный
Бернис Рубенс

Аннотация
Бернис Рубенс. Избранный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Аннотация

Норман когда-то в прошлом — вундеркинд, родительский любимчик и блестящий адвокат… в сорок один год — наркоман, почти не выходящий из спальни, весь во власти паранойи и галлюцинаций. Психиатрическая лечебница представляется отцу и сестре единственным выходом. Решившись на этот мучительный шаг, они невольно выпускают на свободу мысли и чувства, которые долгие десятилетия все члены семьи скрывали — друг от друга и самих себя.

Роман «Избранный» принес Бернис Рубенс Букеровскую премию в 1970 году, но и полвека спустя он не утратил своей остроты. Рубенс безжалостно и с глубоким сочувствием исследует отношения людей, тесно связанных традициями, чаяниями, чувствами вины и долга, любовью и ненавистью. Этот искусно размотанный автором клубок противоречивых характеров и судеб — семья, крепко спаянная взаимным отчуждением и взаимной зависимостью.

Бернис Рубенс
Избранный

Руди

Если у пациентов наблюдается душевный беспорядок, то зачастую беспорядок имеет место и в семье.

Р. Д. Лэйнг «Феноменология переживания» [1]

[1] Примечания: 1

Цит. по: Рональд Д. Лэйнг. Расколотое «Я». Феноменология переживания и Райская птичка. М.: изд-во Института общегуманитарных исследований (ИОИ), 2017. С. 291. (*Здесь и далее примеч. переводчика*).

1

Норман Цвек не решался открыть глаза. Он перевернулся на живот, одну ногу согнул в колене, вторую выпрямил и напряг. Скользнул пальцами ноги в щель меж двух матрасов, наслаждаясь прохладой другой — наследственной — половины. Раньше на этой кровати, широкой, семифутовой, с каркасом красного дерева — единым по форме, но по сути разделенным посередине, — спали его родители. Вот так, вместе, но по отдельности, они пролежали все сорок пять лет брака. Два года назад его мать, умирая на этой самой кровати, на другой стороне, завещала ее сыну. Отец с радостью перебрался в одинокую комнату Нормана, тот же теперь лежал, прикованный к завещанному. Порой во время беспокойного сна он переползал на свое холодное наследие. Но на той стороне его поджидали кошмары и ужасные пробуждения. Он передвинулся на безопасную отцову половину, снова напряг одну ногу, вторую сунул в линию раздела и почувствовал свое тело, не прикасаясь к нему. Молодой паренек, думал он, испытал бы то же чувство, молодо вытянув но-

гу и расслабив ямку между лопаток. Он не касался ни складок на животе, ни увитого прожилками межножья. Всё это надуманные конструкты, они не имеют ни малейшего отношения к его юношески распростертому телу. Он скользнул ладонью под подушку, коснулся щетинистой щеки. Печально улыбнулся этой неопровержимой примете возраста и в подтверждение схватился мозолистыми руками за морщинистые складки плоти. Оттянул один за другим лишенные мышц валики на животе, подбородке, бедрах, ущипнул, покрутил, завороженный воплощенным в них ощущением возраста. Затем принял прежнюю позу, но теперь он понимал, что это обман. Морщины и складки на коже были зарубками — по одной на каждый из сорока одного года.

Он зажмурился в темноте. Он понимал, что недолгий сон окончен, но страшился это признать. Лучше бы он продолжал бодрствовать. Бог знает, что *они* вытворяли, пока он спал, бог знает, что *они* вытворяют сейчас, и где *они*, и сколько *их*. Нет, он ни за что не откроет глаза. Если *они* всё еще здесь, то никуда и не денутся. Он накрыл голову подушкой. Слышать *их* тоже не хотелось. Однако ж хотелось проверить, здесь ли *они*. Он боялся *их* присутствия, но внезапное

их отсутствие ужаснуло бы его куда больше. Ведь *они* — единственное доказательство его психического здоровья.

Он открыл глаза — сперва в темноту под подушкой, потом в темноту комнаты, и тьма испугала его. Он встал, нащупал выключатель и, прищурясь, тут же вернулся в свой одеяльный кокон. Постепенно глаза его привыкли к свету, он лежал, уставясь на свое наследство на другой половине. Он почувствовал, как защипало глаза в предвестии слез, и удивился этому. Ему было о чем поплакать, хотя прежде он не был склонен себя жалеть. Он частенько подумывал положить всему конец, но прежде нужно кого-то убедить, хотя бы одного человека, иначе в глазах людей он умрет сумасшедшим. Однако теперь его никто не послушал бы. Никто ему не верил. Ни у кого не было ни желания, ни терпения сидеть возле него — если придется, то и несколько часов, — чтобы увидеть *их*, как видит *их* он, и заразиться его страхом.

Он погладил девственную простыню рядом, несколько раз провел рукой вдоль тела. И внезапно кожей ладони ощутил изгиб и прямую. Он скользнул ладонью ниже, и под ней, точно

на отпечатке с церковной плиты[2], проступила голова, плечи и всё лежащее ничком тело матери. Его рука застыла, как парализованная, там, где начинались ее ноги, он в ужасе вцепился в простыню, сдернул и обнажил ее тело целиком. Уставился на нее и почувствовал, как ледяные слезы заливают пожар на щеках. Он открыл было рот, чтобы окликнуть мать, но сдержался. Не хотел признавать ее присутствия. Сказал себе, что это всего лишь кошмар. Но тогда, быть может, и всё остальное тоже кошмар, быть может, в комнате ничего нет, кроме его измученной души в истасканной морщинистой оболочке. Быть может, всё это лишь галлюцинация. «Нет!» — крикнул он в одеяло. Только не это слово. Только не это мерзкое, поганое семейное слово, которое отец с сестрой переняли у его психиатра. Все они слепцы, многозначительно и смущенно перебрасываются этим словом, утешаясь скоротечностью, на которую оно намекает. «У него галлюцинация», — они обменивались кивками, и ему хотелось убить их за этот сговор.

---

[2] Примечания: 2

Чтобы получить отпечаток с медных мемориальных плит в полу средневековых церквей, на них клали лист бумаги и закрашивали карандашом (а ранее — и гуталином), так что на бумаге проступало изображение с плиты. Это занятие некогда было в Англии популярным хобби.

Он снова уставился на мать. Она здесь, в этом нет никакого сомнения, а значит, и все прочие тоже здесь. Она бы *их* непременно увидела. Она не стала бы притворяться, будто *их* нет, она избавилась бы от *них*. Она бы его освободила. «Мама», — прошептал он, но изгиб и прямая растворились в простыне. Даже он понимал, что она исчезла, а уж он-то за эти годы привык подмечать всё, что появляется и исчезает. Но он знал, что она вернется, он лежал и ждал ее, вытянув холодную руку на простыне.

Он оторвал голову от подушки и услышал, как *они* скребут по полу, скрежещут зубами. И кое-что новое. *Их* запах. Сперва он задержал дыхание, потом с удовольствием принюхался. Свежий запах, точно печенье оставили непокрытым на блюде, чтобы стало мягче. Еще одно доказательство того, что *они* здесь. В конце концов, *они* имеют полное право шуметь и источать какой-никакой аромат. Но к удовольствию примешивался испуг. Каждое новое доказательство *их* присутствия пугало его. И чем неоспоримее были свидетельства, тем недоверчивее встречали их его родные. Он зарылся головой в подушку, обхватил туловище руками. Пальцы его медленно шевелились, царапая плечи. Он пытался не обращать внимания на

то, что делали его пальцы, замурлыкал мотивчик, чтобы у пальцев появился предлог барабанить по спине. Но пальцы игнорировали ритм и судорожно, лихорадочно царапали тело. Он запел громче, но пальцы отказывались аккомпанировать. Тогда, побежденный, он снова зарылся головой в подушку, признав, что *они* забрались на него. *Они* ползали по его спине, как губка впитывали струившийся по ней пот, копошились на его тазовой кости, липко соскальзывали в пах. Он вскочил с кровати, схватил подушку и сквозь темноту ринулся в ванную комнату. Швырнул подушку в ванну, залил крутым кипятком. Он знал, что *они* внутри подушки, живые и, следовательно, уязвимые. Он взял из шкафчика пузырек «Детто-ла»[3] и вылил на себя. Он готов был смириться с *их* присутствием на полу и подоконниках, но на теле — никогда. Придется *им* указать *их* место. Уж это-то в его власти. Так почему же тогда, спросил он себя, он не в силах стереть *их* с пола, как собирался стереть *их* с собственного тела. Может, *их* и правда не существует. В зеркале над умывальником он поймал тень собственного лица. Он не узнал смотревшего на него отражения, по-

[3] Примечания: 3
Марка дезинфицирующего средства.

грозил ему кулаком, крикнул: «С ума ты сходишь, что ли?» — и, всхлипывая, поплелся обратно в комнату, где ждали *они*.

Он выключил свет, обогнул кровать, пробираясь на ощупь к камину, возле которого *они* обычно кишели. Взял с каминной полки фонарик, посветил наискось, в угол комнаты. В ожидании чесался свободной рукой. Он надеялся, что от *их* укусов остались шрамы. Такое доказательство отец не сможет опровергнуть. Вонь била в нос, но он упивался ею. Это ведь тоже доказательство. Утром отец придет его будить и непременно ее заметит. А до той поры придется сидеть и наблюдать за *ними*, пытаясь побороть страх.

Они не заставили его ждать, потому что он был более чем готов. Вереницей выползли на луч света и в полосе его остановились, собрались, зашевелились. Стая извивающихся серебристых рыбок, которых он на своей памяти видел ежедневно и еженощно (а те дни и ночи, что он позабыл, стерло его безумие). Он перевел луч света вправо, подстрекая насекомых вновь замереть. Подобным манером Норман Цвек водил свое стадо вкруг камина в яснеющей темноте, вскоре отменившей необходимость в фонарике. А потом *они* вдруг исчезли. Норман свернулся

калачиком, уставился в пустоту, почесываясь, принюхиваясь, стараясь удержать *их* запах, *их* ощущение, высматривая *их* следы на истертом коврике у камина. Он всегда боялся этого часа, когда свет вытеснял *их* во мрак, оставляя ему лишь воспоминание о том, как *они* ползли по полу. Теперь-то страх захватил его целиком, как и кошмарный вопрос, который Норман бросил человеку в зеркале в ванной. Он наблюдал, как шарики пота растут и лопаются на его руках и ногах. Он упивался страхом, который плавил его внутренности, прохаживался по бедрам, гнездился в изгибе колен. «*Они* здесь, — шептал он себе, — я вижу *их*, я чувствую *их* запах, я соскребаю *их* со своего тела». Он обхватил туловище руками, обнимая свое отчаяние. А потом с уверенностью, доступной лишь полоумным, крикнул во всё горло:

— Я знаю, что *они* здесь!

Он заполз в изножье кровати, обтирая зудящую плоть о шершавое одеяло. Когда наступило утро, он уже спал, и знай отец, как сын провел ночь, то не стал бы его будить.

2

Но в восемь часов рабби Цвек, по своему обыкновению, вошел в комнату Нормана, чтобы его разбудить. Он замялся на пороге, увидев, что сын съежился в изножье кровати, но не позволил этой позе ослабить свою решимость. Сын спал беспокойно, вероятно, ему приснился дурной сон, время от времени такое бывает с каждым. И даже когда в нос ударил запах «Деттола», рабби Цвек постарался отогнать привычные предчувствия. Легонько похлопал сына по плечу.

— Норман, — сказал он, — уже восемь часов.

Норман откликнулся немедленно и, подняв голову, заметил, что отец принюхивается. Не помня себя от благодарности, Норман спрыгнул с кровати.

— Ты тоже *их* чувствуешь? — спросил он.

Рабби Цвек побледнел. Ну вот, опять началось. Пятый срыв менее чем за год.

— «Деттол» я чувствую, — раздраженно выкрикнул он. — Вот что я чувствую. «Деттол». — Тревога взорвалась в нем машинальной злостью на полоумного. — Ничем тут не пахнет, — снова завопил

он, — кроме «Деттола». Поднимайся, *мешигине*[4]. Завтрак готов.

Рабби Цвек хлопнул дверью. Если Норман снова сорвется, ему этого точно не пережить. Он услышал, как в двери комнаты сына повернулся ключ, и этот звук вызвал у него отвращение. Стоя на пороге кухни, рабби с содроганием думал, до чего же он одинок, но то, что сын отгородился от всех закрытой дверью, мучило его куда больше.

Норман дождался, пока стихнет шарканье отцовских шлепанцев. Потом опустился на колени и потянулся за ежедневной дозой к неприколоченной половице под кроватью. Под половицу был засунут старый кардиган, из его складок Норман извлек большой пузырек. Поднес к глазам, оценил, сколько осталось. Испугался, что так мало. Он купил пузырек всего лишь неделю назад, и при мысли о том, что придется снова искать деньги, его охватила паника. Он высыпал горсть на ладонь, вспоминая былые дни, когда, робея, принимал одну-единственную пилюлю: теперь казалось, будто с тех пор минуло много лет. Он поспешно сунул пилюли в рот, одновременно закрутив крышку на пузырьке. Уложил половицу

---

[4] Примечания: 4
Сумасшедший (*идиш*).

на место и, покачиваясь, встал на ноги. Потом бесшумно отпер замок и открыл дверь. Услышал, как отец с сестрой перешептываются на кухне. Они считают его сумасшедшим. Ох, только не это. У них в семье такого просто не может быть. Он всего лишь дурачится. От нечего делать разбивает им сердце. Страдает не он. А они.

— Серебристые рыбки, — бормотал его отец, — опять его серебристые рыбки. Где это слыхано, чтобы рыбы ползали по ковру? Вода им нужна. Но нет. Рыбки моего сына, ох и умный у меня сын, могут жить на коврах, в подушках, на простынях. Насекомые, так он их называет. Рыбы есть рыбы, — крикнул он дочери, точно она возражала. — На ковре они, видишь ли. Гм.

— Ради всего святого, закрой дверь, — услышал он шепот Беллы и понял, что они сговариваются против него. Он даже не удосужился ни умыться, ни переодеться. Ему хотелось сорвать их заговор. Он накинул халат и на цыпочках прокрался в кухню. Резко распахнул дверь. Его сестра умолкла на полуслове, принялась хлопотать у стола, положила ему приборы. Он вошел, уселся, и она потянула носом.

— Ты тоже чувствуешь, чем пахнет? — со слабеющим оптимизмом спросил он.

— «Деттолом» пахнет, — вместо нее ответил отец.

— *Они* повсюду, — угрожающе произнес он. — И на мне сидят. Если вы *их* не видите, значит, вы слепые бесчувственные сволочи.

Галлюцинации Нормана всегда сопровождались грубыми выходками, но рабби Цвек никак не мог к этому привыкнуть. В редкие промежутки ясного сознания, когда между отцом и сыном устанавливались добрые отношения, рабби Цвек забывал грубость и агрессию Нормана, поэтому каждое новое их проявление поражало его как впервые. Он посмотрел на сына, заставил себя вспомнить, что тот рос добрым и послушным. Это не его сын болтает о серебристых рыбках, а злой дух, выбравший его временным пристанищем; быть может, Нормана сглазили. Одержимого рабби Цвеку было проще простить. Он потянулся через стол и накрыл ладонью руку сына.

Норман отдернул руку.

— Я позвоню в санитарную службу.

— Опять? — устало спросила Белла. — Они уже приходили, — продолжала она, стараясь не раздражаться, — они приходили два месяца назад. Прочесали весь дом мелким гребнем. Забрали образцы, которые ты им дал. Проверили в лабо-

ратории. И обнаружили только грязь да ворс из ковра. Прислали тебе письмо. Черным по белому. Чего же тебе еще?

— Они пробыли здесь пять минут, — заорал на нее Норман. — Что они рассчитывали найти за пять минут? Надо было убрать ковры и тщательно всё проверить. Неужели же, черт возьми, вам плевать, — кричал он, — что *они* ползают по всему дому?

— Ешь свой завтрак, — кротко проговорил отец.

Норман похлопал отца по руке и ухмыльнулся:

— Спорим, что и по тебе *они* ползают.

Его ухмылка доконала рабби Цвека. Ему не раз казалось, что срывы Нормана — обычный розыгрыш. Что сын доводит его просто для смеху.

— А тебе всё шуточки! — крикнул он и тыльной стороны руки с кольцом влепил сыну пощечину.

— Ты об этом еще пожалеешь, — прошептал Норман. Долгое время никто не произнес ни слова. Норман потирал щетинистую щеку, Белла смотрела, как отец давится слезами. Раз-другой он открыл было рот, хотел что-то сказать, но голос еще не вернулся к нему. Потом она услышала, как он бормочет извинения. И делает новую попытку.

— Норман, — мягко проговорил отец и замялся, страшась того, о чем должен спросить. — Норман, — повторил он, — где ты их взял? Сколько ты принял?

— Ничего я нигде не брал, — крикнул Норман. — Ничего я не принимал. Я уже много лет ничего не принимаю.

Рабби Цвек снова не выдержал:

— Какой злодей дает их тебе? Я его убью. Я его убью. — Он плакал от боли. — Для чего ты их пьешь? — с мольбой спросил он. — Перестань принимать таблетки, или я сойду с ума.

— Зачем ты доводишь отца? — крикнула Белла. — Разве не видишь, что это его убивает? Что ты с нами вытворяешь?

Рабби Цвек закрыл лицо руками.

— Перестань принимать эти чертовы таблетки, — промямлил он, досадуя на себя за непривычное выражение. Он прибег к нему, отчаянно надеясь, что хоть так сын прислушается. — Я позвоню доктору Леви, — добавил он и поднялся из-за стола.

— Чтобы духу этого ублюдка в нашем доме не было, — сказал Норман. — Я не потерплю его здесь. Что он вообще знает, этот дурак? Если ты приведешь его, я его убью. — Он оттолкнул

тарелку с недоеденным завтраком и вышел из комнаты. Отец и Белла обратились в слух, и наконец в двери Нормана повернулся ключ.

— Бедный, бедный мальчик, — пробормотал рабби Цвек и направился к телефону. — Доктор Леви?

— Рабби Цвек. — Доктор узнал голос и догадался, в чем дело. Последнее время звонки участились.

— Опять серебристые рыбки, — ответил рабби, досадуя на сквозившее в его интонации презрение к родному сыну.

— Я сейчас же приеду.

Рабби Цвек положил трубку. Его трясло от страха, передавшегося от сына. Он всей душой желал бы видеть их, как видел сын, чтобы они вдвоем, рука об руку, вступили в безумие. Одиночество сына ранило его, как нож: несомненно, его желтолицый мальчик, измученный ужасными образами, сейчас сидит, скукожась, на зараженном полу, охотится за доказательствами.

— Я скажу ему, что вижу *их*, — решил рабби. — Может, тогда ему надоест шутить.

Он постучался к Норману.

— Норман, — позвал он.

— Чего тебе?

— Норман, — мягко повторил рабби. — *Они*

по-прежнему там? Давай я посмотрю еще разок?

Из-за двери сочилось молчаливое подозрение.

— Давай я посмотрю еще разок? — взмолился рабби Цвек. Повернулся ключ, и дверь осторожно отворилась. В комнате было темно. Книги прижимали к полу края задернутых штор, чтобы те не пропускали свет.

— Только тихо, — прошептал Норман.

Отец уставился на осунувшееся лицо сына с выпученными черными глазами и устыдился шепота и темноты. Знать бы, что Господь думает о поведении Нормана. Вряд ли оно способно ввести Его в заблуждение. Но кого же Он все-таки карает, спросил себя рабби, меня или его?

— Встань у камина, — велел Норман. — И не шуми. Вот увидишь, *их* тут уйма, надо только подождать.

Но рабби Цвек был готов увидеть, не дожидаясь.

— Я вижу *их*, — прошептал он, глядя на пустой ковер, и взволнованно приподнялся на цыпочки. — Ну и ну, — изумился он, — сколько *их*, да тут целая армия. — Он посмотрел на сына, ожидая благодарности.

— Ты считаешь меня сумасшедшим, да? — тихо спросил Норман. — Смотри.

Он открыл комод. Внутри, в углу, стояла стеклянная банка, в которой на красном ковровом ворсе покоились листья. Напротив банки было увеличительное зеркало.

— Взгляни в зеркало, — сказал Норман. — И точно увидишь *их*.

— Листья я вижу, — озадаченно произнес рабби Цвек.

— Я *их* кормлю, — рассмеялся Норман.

Рабби так и подмывало снова ударить сына, но вместо этого он молча вышел из комнаты.

— И не возвращайся, — буквально прорыдал Норман ему вслед. — Оставь меня в покое. Просто оставь меня в покое.

Ключ снова повернулся в двери, и рабби Цвек вошел на кухню.

— Иди вниз, открывай лавку, — велел он. — Уже девять часов.

Проходя мимо отца, Белла положила руку ему на плечо.

— Не расстраивайся, — сказала она. — У него это скоро пройдет.

— А потом начнется снова. — Рабби сжал руку дочери. — Мы должны их найти, — продолжал он в отчаянии. — Нужно выманить его из комнаты, и ты должна их найти. Они там. Ему кто-то

их дает. Попадись они мне, я их... Тебе нужно тщательнее убирать комнату! — крикнул он на дочь и прикусил губу, сдерживая слезы. — Иди, иди, — быстро проговорил он, — открывай лавку. Не хватало еще потерять и торговлю, в довершение всех бед.

Когда дочь уходила, его взгляд упал на ее белые носки. Ей почти сорок, его Белле, а всё в коротких носочках, как девочка. Но это другая мука. Сейчас он об этом не отваживался думать. Шмыгнул носом, прогоняя слезы, и принялся ждать доктора.

Когда раздался звонок, Норман крикнул:

— Если это говнюк Леви, скажи ему, пусть проваливает.

Рабби Цвек знал, что доктор Леви на лестнице наверняка слышал эти слова, и, открыв ему дверь, извинился за сына.

— Ничего страшного, — ответил доктор Леви, — это вполне естественно. Пойдемте на кухню, — добавил он шепотом, зная, что Норман будет подслушивать у своей двери, а ему не хотелось, чтобы их услышали.

Доктор Леви прошел за рабби Цвеком на кухню и сел за стол. Он давно уже здесь освоился. Над раковиной, всегда криво, всегда натертый до блеска, висел медный половник. На чашке чая

с лимоном, которую поставил перед ним рабби Цвек, доктор увидел знакомую, уже выцветающую розовую узорную кайму. Формально он не был их семейным врачом. Доктор Леви был психиатр, давний друг семейства Цвек. По-дружески захаживал к ним, когда умирала миссис Цвек, садился на этот же стул возле кухонного стола, пил чай из этой же чашки, с еще не выцветшим розовым узором. Тогда, как сейчас, он сидел с рабби Цвеком, утешал его, хотя оба знали правду.

— Это всего-навсего вопрос времени, — сказал он тогда рабби, — и чем раньше, тем лучше для вас всех.

Тем временем на просторной семифутовой кровати миссис Цвек гадала, почему же она никак не оправится от операции.

— Чем мы старше, тем больше времени требуется на это, — сказал ей доктор. — Еще месяц или около того, и вы встанете на ноги.

И она, запасясь терпением, лежала, листала брошюру с рекламой какого-то курорта, которую купил рабби Цвек, чтобы она выбрала, куда хочет поехать долечиваться. Теперь на той же кровати лежал Норман, с другой иллюзией, но всё равно иллюзией, а между его отцом и доктором Леви на кухне раскорячилась такая же трудная правда.

— Давно он так? — спросил доктор Леви.

— Откуда мне знать, — беспомощно произнес рабби Цвек. — Он уже много дней не ест. Завтракает, и плотно завтракает, а потом ничего.

— В лавке бывает?

— Спускается. Сидит. Белла говорит, ничего не делает. И вечно грубит, перед клиентами стыдно. Если бы только знать, где он это берет. Если бы только…

— Рабби Цвек, — мягко перебил доктор, — даже если вы найдете, где он это берет, толку не будет. Он отыщет другой источник. Все они одинаковы, эти наркоманы. Настоящие ловкачи. Как ни крути, а свое раздобыть ухитрятся. Правда, это дорого. Откуда у него такие деньги?

Рабби Цвек молчал. Потом, не глядя на доктора Леви, потянулся к нему над столом.

— Доктор, — сказал он, — мне стыдно, но вы доктор, а то, что я сообщу вам, секрет.

Доктор Леви похлопал рабби по руке.

— Он их крадет? — спросил он.

Рабби Цвек понурил голову.

— Мой собственный сын, — прошептал он, — *гоноф*[5], причем у родного отца из кассы. На

---

[5] Примечания: 5
Вор (*идиш*).

прошлой неделе, — добавил он, — моя Белла недосчиталась пятнадцати фунтов. Что мне делать? Каждую минуту я же не могу с ним сидеть.

Доктор Леви открыл черный чемоданчик.

— Мы его подлечим, по крайней мере купируем приступ, а там, может, уговорим лечь в больницу. Другого способа нет. Полгода, год без наркотиков. Глядишь, и опомнится.

— Я пытался, — сказал рабби. — Белла пыталась. Каждый раз, как придет в себя, он клянется завязать. А потом начинает сначала. Что из него получится?

— Давайте сперва купируем приступ, — деловито предложил доктор.

Рабби Цвек пожал ему руку.

— Я вот думаю, — произнес он, — может, серебристые рыбки *таки да* в его комнате. Может, когда приходят делать уборку, толком не проверяют. Как и сказал Норман, настоящая генеральная уборка нам не помешает. Тогда мы бы их нашли и унесли. — Он с мольбой посмотрел на доктора Леви.

— Вы себя доведете до нервного срыва, — прошептал доктор Леви. — Вы защищаете его, рискуя собственным душевным здоровьем. Ничего в его комнате нет. И вы знаете это не хуже меня. Послу-

шайте, рабби, всё очень просто. — Доктор Леви подался вперед, проговорил очень медленно и терпеливо, как человек, вынужденный снова и снова объяснять одну и ту же ситуацию. — Когда он начал принимать наркотики, они давали ему, что называется, кайф. Понимаете?

— Откуда мне знать, что такое кайф, — устало произнес рабби Цвек. В каждый Норманов срыв, с каждым объяснением он отказывался признавать, что этот диагноз имеет хоть какое-то отношение к его сыну. «Мало ли чего болтают врачи», — бормотал он себе под нос.

— Настоящую генеральную уборку сделает Белла, — ответил он.

— Когда Норман только начал, — продолжал доктор Леви, не обращая внимания на то, что его перебили, — ему хватало одной таблетки, чтобы получить удовольствие. Но со временем, чтобы добиться такого же эффекта, пришлось принимать всё больше, больше и больше. И вот он пьет их горстями. Теперь эти таблетки опасны. При определенной дозировке видишь то, чего не видят другие. Змей, слонов, булавки или серебристых рыбок, как Норман. Да, он их действительно видит, но это галлюцинация. Их там нет, рабби Цвек, — отрезал доктор Леви, — как бы он ни

пытался убедить вас в обратном. Вы же знаете, что их там нет, правда.

Рабби Цвек вздохнул. Иногда он ненавидел доктора Леви.

— Почему вы так уверены, что их там нет? — пробормотал он.

Доктор Леви выудил из коробочки маленькую пилюлю.

— Я к нему не пойду, — сказал он. — Чтобы лишний раз не злить. А вы уговорите его утром выпить кофе с вами и Беллой, растолките вот эту таблетку и подсыпьте в сахар. Поручите это Белле. Таблетка растворится, будем надеяться, он ничего не заметит. Если выпьет всю чашку, проспит несколько часов, а я позже загляну к вам и сделаю ему укол. Как раньше. Пару недель продержим его на глубокой седации. Как в прошлый раз.

— И в позапрошлый, — подхватил рабби. — И в следующий.

— Давайте сперва преодолеем эти трудности, а потом уж поговорим с ним. Все вместе. Я беспокоюсь за вас, рабби. Больше, чем за Нормана, — сказал доктор Леви. — Эти волнения вас убивают.

— Что ж мне, по-вашему, плясать? — пробормо-

тал рабби Цвек.

— Вспоминайте то время, когда он был здоров. Между срывами. Ради этого стоит жить, этого стоит ждать. Ради того времени, когда он был вам хорошим сыном.

— Не так-то часто это бывает. По крайней мере, теперь. — Рабби Цвек с неожиданной злостью стукнул кулаком по столу. — Мне бы только добраться до убийцы, который их продает.

— Пойдемте со мной вниз, в лавку, — мягко попросил доктор. — Продадите мне сигарет.

У двери сына рабби Цвек остановился.

— Норман, — позвал он.

— Передай от меня доктору Леви, — крикнул Норман, — что психиатр из него как из кошки, и пусть катится к черту со своими уколами. Я совершенно здоров, — всхлипывая, добавил он. — Сами вы такие. Вы все сумасшедшие. И оставьте меня в покое.

— Я иду в лавку, — спокойно ответил отец. — Скоро вернусь. И мы вместе выпьем чаю, а? Ты, я и Белла.

— Не хочу я никаких семейных советов, — сказал Норман. — Оставьте меня в покое.

Доктор Леви приобнял рабби Цвека за плечи и повел в лавку.

Часом позже Белла и ее отец оставили в магазинчике подручного и поднялись в квартиру. Переговаривались шепотом, пока Белла молола белую пилюлю, высыпала в сахар на дне чашки и добавляла дольку лимона, чтобы скрыть смесь.

— Будет лучше, если он заснет, папа. Надо попросить тетю Сэди, чтобы опять приехала за ним ухаживать. Давай я позвоню ей?

— Это уже шестой раз.

— Ей это нравится. Ты же знаешь. Я позвоню ей снизу.

— Подожди. Подожди, пока он уснет, — сказал отец. — Тогда поглядим.

Чай был готов, и они уставились друг на друга: ни ему, ни ей не хотелось звать Нормана.

— Скажи ему, что чай готов, — попросил рабби Цвек.

— Лучше ты скажи. Меня он не послушает. Ладно, — добавила она, заметив отцово смущение, — сама скажу.

— Норман, твой чай готов, — крикнула она в коридор.

— Норман, твой чай готов, — передразнил ее Норман.

— Ты чаю хочешь или нет? — сердито спросила она.

— Ты чаю хочешь или нет, — послышалось из-за двери.

Белла вернулась на кухню.

— Меня он не слушает, — сообщила она.

Рабби Цвек устало поднялся и вышел в коридор.

— Норман, — негромко позвал он. — Чаю хочешь?

— Я уже тебе сказал. Я не хочу никаких семейных советов. Вы же потом притащите сюда тетю Сэди в белом халате, чтобы та разыгрывала передо мной Флоренс Найтингейл.

— Принести тебе в комнату? — робко предложил отец.

— Оставьте под дверью.

— Да сколько же можно, — не выдержала Белла. Ей было трудно относиться к нему как к больному. И хотелось проучить его за то, что он вытворяет с отцом. Да и с ней тоже, ведь и над нею он помудрил довольно. Она посмотрела на свои ноги. Разумеется, она не обязана носить эти детские носочки. Но теперь это уже вошло в привычку. Нужно стать другим человеком, чтобы надеть что-то другое. И в этом тоже его вина. Белла ненавидела себя за чувство долга по отношению к брату. Они совершенно чужие

люди, разве что родители общие, общее несчастливое детство и общая взаимная неловкость. Она старалась не желать ему смерти.

Рабби Цвек взял со стола чашку Нормана.

— Эта? — спросил он, еще раз перемешал сахар и понес сыну. — Я под дверью оставил, Норман, — сказал он. — Осторожно, горячий.

Он вернулся на кухню, и они принялись ждать. Дверь Нормана открылась и закрылась. Рабби Цвек выглянул в коридор и увидел, что чашка исчезла.

— Слава богу, — сказал он, — он хотя бы это выпьет.

Но не успел рабби Цвек сесть за стол, как они услышали, что Норман снова открыл дверь.

— Кем вы меня считаете? — заорал он. — Думали, я не замечу?

Он влетел на кухню, поставил чашку на стол.

— Чего вы добиваетесь? Убить меня хотите?

— Что, что? — промямлил рабби Цвек. — Что случилось?

— Вы что-то положили мне в чай, — пояснил Норман. — Сам попробуй.

— Нет там ничего, — отрезала Белла. — Мы все пьем одно и то же. Из одного чайника.

— Может, лимон горчит? — предположил раб-

би Цвек (лжец из него был никудышный).

— Лимон, как же, — сказал Норман. — Если ты так уверен, что там ничего нет, сам его пей. — Он подтолкнул чашку к отцу.

Такого развития событий рабби Цвек не предусмотрел. Но выбора у него не было. Он осторожно взял чашку и отпил мельчайший глоток, чтобы не вызывать у сына подозрений.

— Всё в порядке, — сказал он. — Может, побольше сахару тебе положить.

— Выпей еще, — велел Норман, — тогда распробуешь.

Рабби снова поднес чашку к губам, а Норман пристально наблюдал, сколько тот отпил.

— Еще, еще, — повторял он, пока отец не отпил полчашки.

— Всё в порядке, — повторил рабби Цвек.

— Тогда попробуй ты. — Норман подвинул чашку к Белле. Белла с ужасом увидела, сколько выпил отец.

— Давай, — подначил Норман, заметив ее замешательство. — Хлебни отравы.

Она сделала глоток. Чай, несомненно, горчил. Доктор Леви явно спятил, если решил, что Норман, разбиравшийся в таблетках как гурман, этого не заметит. Она ненавидела доктора Леви.

Она ненавидела всех за то, что они сделали с нею. Ненавидела свою сестру Эстер за то, что та вышла замуж и сбежала от ответственности. Ненавидела Нормана за то, что он вытворяет с ними, и даже отца — за то, что всё равно его любила.

— Чай как чай, — сказала она, — это всё твои фантазии. Как с серебристыми рыбками.

Она ненавидела себя за эти слова. Почему бы ей не сделать вид, будто у брата желтуха, или корь, или ревматизм, или любой другой почтенный недуг, о котором не стыдно говорить. Она смотрела на черную щетину, затемнявшую его нижнюю челюсть, на землистые тени, залегшие на щеках. Он выглядел больным, насквозь больным. Чего же ей еще?

А Норман снова подтолкнул чашку к отцу.

— Теперь ты давай попробуй, — раздраженно произнес он, — ты же знаешь, там что-то есть.

Рабби Цвек послушно отпил еще глоток и вынес вердикт.

— Ничего, — сказал он.

Его уже клонило в сон. Он прижал ладонь ко лбу.

— Отстань от него, чего привязался, — добавила Белла.

— Тогда сама еще раз попробуй, — пробурчал

Норман. — Если кто и крякнется в этом доме, так пусть это буду не я. — Он стоял над ней, пока она пила.

Белла сделала глоток и с усилием опустила чашку на стол.

— Что ж, — сказал Норман в дверях, — желаю вам обоим долгой жизни.

Белла слышала, как он ушел к себе в комнату и закрылся на ключ.

— И что теперь? — беспомощно спросила она.

Отец опустил голову на стол. Она аккуратно потрясла его за плечо, но он уже крепко спал. Белла сидела рядом, гадая, как ей в одиночку нести эту ношу. Она никак не могла забыть выражение лица брата, когда он стоял над нею и смотрел, как она пила. Не будь она его сестрой, пожалуй, смогла бы его обнять и поверить в него ради его же блага. Даже сумела бы его полюбить. Но кровь мешала такой вот любви, бескорыстной любви. Она любила его когда-то, и он ее, когда оба были детьми и она с полным основанием носила белые носочки. С тех пор ни он, ни она об этом не вспоминали, никому не раскрыли свою тайну, «хотя бог знает, — подумалось вдруг ей, — наверняка доктор Леви успел выведать это у него». Она встала убрать со стола, но у нее подкосились ноги.

Она и не сопротивлялась, ей хотелось забыться. Она даже надеялась, что уснет навеки. Она осела на стул, и ее одолело оцепенение.

Норман задвинул дверь тумбочкой и опустился на корточки. Несмотря на то что он задернул шторы, свет, пробивавшийся сквозь тонкую ткань, разогнал его компаньонов. Он решил купить тяжелые бархатные шторы на плотной черной подкладке, чтобы в комнате всегда царила ночь и не переводились доказательства. Только при свете дня и в бесспорном отсутствии всякого общества Нормана мучил страшный вопрос его душевного здоровья. Даже просто задаться им значило допустить, что у отца и сестры есть резон с ним спорить. Нет, ни в коем случае нельзя допускать даже мысли об этом — но какая же сила при свете дня поможет вытеснить этот вопрос? Его, безоружного, обступили вопросы. Того и гляди, нарушат его покой. Я сумасшедший? Быть может, нет никаких серебристых рыбок? А если есть, то где *они* сейчас? Это всё Белла виновата, она повесила мне эти шторы. Рыбки разбегаются на свету. Почему она не верит ему? И отец? Какое такое безумие их ослепило, что они не замечают: он в здравом уме? И почему его так возмущает, что они не видят рыбок? Наконец вопросы полу-

чили свое и, довольные, отступили, оставив его, уязвленного, в одиночестве ждать день-деньской, когда же настанет ночь и соберет его войско.

Он услышал, что в дверь позвонили. Пришли его забрать. Этот болван Леви со своей иглой собирается его усыпить, как в прошлый раз. Норман вскочил и придвинул к двери комод. Только бы продержаться до сумерек, когда появятся доказательства. И тогда он их впустит, причем всех. «Тогда посмотрим, кто из нас сумасшедший», — сказал он себе. Прислушался, но дверь никто не открыл. Он не слышал, чтобы они уходили: значит, отец с сестрой по-прежнему в квартире. Норман надеялся, что посетитель, кто бы он ни был, уйдет, но звонок зазвенел снова, уже дольше, потом еще раз. Он ждал. Между звонками в квартире стояла тишина. Они улизнули так, что он не услышал. Куда же они ушли? Уж не за теми ли, кто должен его забрать? Не они ли сейчас на пороге? Норман услышал, как стукнула створка дверного почтового ящика.

— Мисс Цвек? — раздался в коридоре писклявый шепоток. Это Терри, подручный из лавки. Безобидный, вдобавок мелкий и хилый. Норман отодвинул тумбочку, открыл дверь.

— Чего тебе? — крикнул он в коридор.

— Мисс Цвек, — повторил Терри. — Она не вернулась в лавку. Мне пора на обед.

— Ее нет, — сказал Норман. — Иди подожди ее внизу. Извини, — добавил он.

К парнишке он относился с нежностью — как к единственному человеку в своем окружении, который не считал его сумасшедшим. Терри их видел. Как-то вечером, когда лавку уже закрыли и отец с сестрой ушли, Терри пришел к нему в комнату и увидел их. Он стоял как вкопанный и в ужасе цеплялся за дверь, мечтая убежать. «Я этого не вынесу», — произнес он наконец. Норман его отпустил, признательный за понимание.

— Может, вы сами придете? — робко попросил Терри.

— Не могу. Пытаюсь тут избавиться кое от чего в моей комнате.

Он услышал, как Терри сбежал по каменной лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и со стуком приземлился на каменную площадку.

Норман стоял в пустом коридоре. Интересно, куда же *они* подевались. Он услышал негромкое сопение, и его захлестнула радость: значит, *они* вернулись в его комнату. Он вошел, и звук стал тише. Потом он услышал его за спиной, эхом в коридоре. Он прислонился к двери, пытаясь

осмыслить новый оборот событий во всей его полноте. Вне всякого сомнения, *они* здесь, целиком и полностью захватили квартиру. У него отлегло от сердца. Теперь им придется его выслушать, потому что *эти* повсюду. Он оправдан. Но мстить им не станет. Проявит терпимость и великодушие, простит их обвинения. Ему уже хотелось, чтобы отец с сестрой поскорее вернулись. Он настежь распахнул дверь комнаты, раздернул шторы. Уединение теперь ни к чему. Он прошел по коридору на кухню. Заметил, что шум усилился, но не придал этому значения. Наверняка кухня *ими* кишит. Он раньше видел *их* там своими глазами: вообще-то он видел *их* практически везде, если удосуживался посмотреть. Теперь же *им* надоело, что *их* игнорируют, и *они* сонмом явились на кухню, требуя признания. Он приблизился к кухонной двери. Она была приоткрыта, и шум здесь оглушал. От радости Норман замялся на пороге, оттягивая окончательное подтверждение того, что непременно станет его спасением. Наконец он распахнул дверь.

Его отец навалился грудью на стол. И храпел. Его отец храпел. И только. Даже Норман, в чьем воображении спутались звуки жизни и смерти, даже он вынужден был признать, что шум этот

исходит от спящего отца. Сидящая рядом с ним Белла подтягивала отцовской партии жидким дискантом. До чего же мерзкая парочка, подумал Норман. Взглянул под стол, на ноги Беллы в белых носочках, на пучки жестких черных волос, примятых резинкой. Эти носки ставили ему в вину; Иисусе Христе, она не обязана их носить. На ее лицо он старался не смотреть. Когда-то он любил ее, поскольку такая любовь была под запретом. Пожалуй, задумался он, с тех пор он никого и не любил. Он покосился на отца. Кипа съехала на ухо, на открывшейся половине головы набухли жилы, как на старушечьей кисти. И этот-то человек некогда рассказывал ему, как море расступилось перед евреями, этот человек верил в чудеса, этот человек верил всем добрым людям, кроме собственного сына. Норману стало его жаль, но он всё равно не дрогнул. Он не позволит себя разжалобить — ни отцовской старческой головой, ни белыми носочками сестры. Он должен их ненавидеть, пока они не поймут. Встав между ними двумя, он открыл рот и издал долгий пронзительный вопль. Они шевельнулись одновременно, подались друг к другу, точно сквозь сон почуяли беду и искали спасенья. Белла первой открыла глаза, но тут же закрыла их, словно чтобы

уничтожить явь, открывшуюся ей на долю секунды. Рабби Цвек медленно открыл глаза, застонал, но закрывать не стал. Он спал глубоко, но и во сне перед ним маячил образ несчастного сына. Мгновенно опомнясь, он уставился на Нормана, потому что даже во сне ни на секунду не забывал о нем. Белла снова открыла глаза, вынужденная смириться с пробуждением. «Чай», — сказала она себе: он выжил, ее полоумный братец с его серебристыми рыбками. А его сестра Эстер вышла замуж и знать ничего не знает, а мать умерла, а он убивает отца своим безумием. Она встала, положила руку отцу на плечо.

— Что же нам делать? — беспомощно проговорила она.

— Который час? — спросил рабби Цвек.

— Только два.

— Тогда, может, отпустишь Терри на обед? — сказал он, словно дочь спрашивала его о чем-то обыденном. По крайней мере, с этим делом можно покончить, причем быстро. — Иди присмотри за лавкой, — велел он Белле.

— А с ним? — уточнила Белла. Безлично, как о душевнобольном. — С ним что будем делать? — Ее снедали злоба и ненависть.

— За меня не беспокойся, — вклинился Нор-

ман. — Я сожгу свой ковер и избавлюсь от *них*. — Он невинно улыбнулся ей.

— Господи, — она рухнула на стол, — сколько можно это терпеть? Ты ошибаешься, — неожиданно закричала она на него, — в этой квартире нет насекомых. Ты ошибаешься, ты ошибаешься, — кричала она. — Сумасшедшие всегда ошибаются.

Норман вернулся в комнату. Прислонив ухо к замочной скважине, слушал, что будет дальше. Чуть погодя он услышал, как Белла пересекла прихожую и вышла из квартиры, как звякнул телефон, когда отец принялся набирать номер. Норман отодвинулся от двери. Отец звонил доктору Леви; их снова ждет та же морока. Он вдруг почувствовал, до чего его утомила вся эта ситуация.

— Если бы я и впрямь сошел с ума, было бы гораздо легче, — сказал он себе. — Тогда меня бы подлечили, и я больше не видел бы *их*. — Он подумал, не прикинуться ли помешанным, чтобы его стали «лечить», но после курса «лечения» он всё равно видел бы рыбок; может, тогда бы ему поверили. Да и прикинуться помешанным он не мог.

— Только полубезумным под силу изобразить помешательство, — сказал он себе. — Мне бы

нипочем не удалось их обмануть. Ведь меня раскусил бы даже этот болван Леви. Причем моментально. Он считает меня сумасшедшим, но лишь потому, что я здоров. Он обязан так думать. Это его профессия. Вот если бы старик Леви счел меня нормальным, я бы всерьез забеспокоился.

Он улыбнулся. Сами они сумасшедшие, все до единого. С полнейшей уверенностью в этом он запер дверь.

Отец всё еще разговаривал по телефону, но подслушивать уже не хотелось. Не хотелось в этом участвовать, строить планы. В глубине души его мучила боль грядущей капитуляции, он почувствовал это несколько месяцев назад, когда игла доктора Леви вонзилась в его руку.

— На этот раз, — произнес он вслух, — я им не дамся. Я здоров, я здоров, — провизжал он и услышал эхо сестриных возражений.

Он сидел на корточках, стараясь не думать о том, что они с ним сделают. Чуть погодя он услышал, как задребезжал почтовый ящик, и принялся ждать, когда отец откроет дверь.

— Норман Цвек здесь живет? — спросил мужской голос, и Норман каким-то образом понял, что мужчина принес документы.

Их было двое, облекшихся в черное и бюрокра-

тизм, с одинаковыми коричневыми портфелями, и рабби Цвек их впустил. Им впору было захватить с собой рулетку, как гробовщикам.

— Где мы могли бы побеседовать? — спросил один из докторов, высматривая в прихожей укромный уголок.

— На кухне, — промямлил рабби Цвек, и двое мужчин последовали за ним. Сели за стол и тут же заговорили о главном.

— Доктор Леви обрисовал нам положение, — сказал один. — Вы, конечно же, понимаете, что нам необходимо видеть вашего сына. Мы должны убедиться, что ему действительно требуется госпитализация. Сами понимаете, таков закон, — мягко добавил он.

— Да, таков закон, — повторил рабби Цвек, недоумевая, зачем вообще впустил этих двоих в квартиру.

Он пригласил их освидетельствовать его сына и признать душевнобольным. Он помогает им упрятать мальчика в сумасшедший дом. Он согласен с ними, что сын полоумный.

— Но, — запротестовал он, осознав всю значимость ситуации, — так ли уж нужно везти его в больницу? Он совсем чуть-чуть не в себе, мой сын, — взмолился он. — Я ему скажу, что больше

не стоит принимать таблетки, и он поправится. Я вам клянусь, — умолял он. — Я клянусь вам памятью моей покойной жены, *алеа а-шалом*[6], — (да что эти гои смыслят в таких вещах?). — Он не сумасшедший, — настаивал он, — мой сын. Просто немножко устал. Мало спал, вот и ум немножко мешается. Я тоже, когда устаю, немножко *цемишт*[7].

Он осознал ничтожность своего довода и рассердился из-за того, что приходится упрашивать кого-то поверить в душевное здоровье сына. Он стремительно встал.

— Пожалуйста, уходите, — сказал он. — Спасибо, что пришли. Прошу прощения за причиненное беспокойство. Дождь на улице, — мучительно неуместно добавил он.

В дверь снова позвонили, один из мужчин направился было ко входу, второй удержал рабби Цвека. Тот сбросил его руку.

— В моем собственном доме, — тихо произнес он, — я могу открыть свою собственную дверь.

Но даже не сделал попытки выйти. Он предчувствовал, что в коридоре будет сражение,

---

[6] Примечания: 6
Мир праху ее (*ивр.*).

[7] Примечания: 7
Зд.: помешанный (*идиш*).

которое он проиграет точно так же, как то, которого старался не замечать на кухне. Он ждал, когда вернется доктор. С ним пришел еще один человек, мистер Ангус, как его представили, с пугающим дополнением: «инспектор по вопросам психического здоровья». Мистер Ангус протянул руку рабби Цвеку и пожал ее с оскорбительным профессиональным сочувствием. Рабби Цвек попятился и устало рухнул на стул.

— Дождь на улице, — повторил он.

Два доктора вышли из кухни. Мистер Ангус закрыл за ними дверь и придвинул стул к рабби Цвеку. Положил руку ему на плечо и понял, что сказать ему нечего. Его работу и так нельзя было назвать простой, но самым трудным в ней было общение с ближайшими родственниками пациента. Мистер Ангус знал, что кое-кто из его коллег упивается *schadenfreude*[8] их ремесла, но сам был не таков. И он пообещал себе, уже в который раз за последние десять лет, что подыщет другую работу. Они сидели на кухне, и делать им было нечего, только прислушиваться к звукам, доносившимся от двери Нормана, и, когда те стали громче, мистер Ангус придвинул свой стул

---

[8] Примечания: 8
Злорадство (*нем.*).

еще ближе к рабби Цвеку и мягко погладил его по руке.

— Проваливайте, — кричал Норман. — По какому праву вы ломитесь ко мне в комнату?

— Откройте, — спокойно отвечал доктор. — Нам всего лишь нужно с вами поговорить. Вы же не хотите, чтобы мы выбили дверь, правда? Будьте хорошим мальчиком.

От этого слова — «мальчик» — у рабби Цвека навернулись слезы. Он взрослый человек, его сын, а взрослого человека называют «мальчиком», только если презирают.

— Он ведь не сумасшедший, правда, мой сын? — шепотом спросил он у мистера Ангуса.

Тот сжал его руку.

— Так будет лучше для него. Я вам клянусь. Всего несколько недель, и его отпустят. И всё закончится, — сказал он, удержавшись, чтобы не добавить «до следующего раза».

Ему довелось повидать немало таких пациентов. Он успокаивал потрясенных родителей, плачущих жен и детей. Стоя на пороге и утешая их сладкой ложью, он искренне старался замаскировать неприглядные подробности того, как именно увозили их близких. Если те ехали по доброй воле, было чуть легче. А вот если упирались,

как этот, то хоть кричи караул. Тяжело было даже не столько самому пациенту, сколько тем, кто с мукой наблюдал за ним.

— Когда его осмотрят доктора, — сказал мистер Ангус, — я с ним поговорю. Я сделаю всё, что в моих силах.

Рабби Цвека переполняли вопросы. Как они заставят его идти? Неужели наденут смирительную рубашку? Будет ли у двери дежурить полисмен? Пришлют ли за ним белую карету скорой помощи? Куда его отвезут? Что, если там полно сумасшедших, да не таких, как его сын, который скоро поправится, а настоящих *мешуге*? Но задать их он не отважился. Отказывался признавать правду. Но она кричала на него из-за двери. Гулкий пинок, фраза «Если вы не откроете, мы вынуждены будем вызвать полицию».

— Скажите им, чтобы уходили, — взмолился рабби Цвек. — Или пустите, я с ним поговорю.

Он привстал, собираясь идти к Норману. Сын никогда его не простит. Рабби Цвек сел на место, закрыл лицо руками, принялся раскачиваться из стороны в сторону, молясь и плача, и постепенно его охватило нечто вроде покоя. Вдруг он услышал, что дверь Нормана отворилась, и снова заплакал — из-за капитуляции сына. Доктора

зашли в комнату и закрыли за собой дверь.

— Ему уже лучше, он скоро поправится, — сказал он мистеру Ангусу. — Они его припугнули, и ему лучше. Нужно было всего лишь его проучить. А теперь уходите, все.

Но в этом запоздалом алиби не было толку: его сын во всём сознался. Рабби Цвек почувствовал, что мистер Ангус выпустил его руку, и понял, что остался на кухне один.

О том, что сейчас творится в комнате Нормана, ему не хотелось думать. Он даже не понимал, что сам приложил к этому руку. Он сознавал лишь, что на улице моросит нескончаемый мелкий дождь. Он услышал, как двое мужчин прошли по коридору и вышли из квартиры. И обрадовался, что они не заглянули на кухню попрощаться с ним. Надеюсь, они захватили зонтики, подумал он. Из комнаты Нормана слышалось бормотание, рабби Цвек вспомнил, как похожее бормотание доносилось от смертного одра жены, и почувствовал, что его ждет еще одна такая же трагедия.

— Папа, — крикнул из комнаты Норман с отчаянием и мольбой, как маленький мальчик.

В крике слышалась просьба о помощи и защите. В крике сквозила физическая боль, и рабби Цвек немедленно откликнулся. Что бы ни случилось с

сыном, он поцелует его, и всё тут же пройдет, он расскажет ему сказку, чтобы отвлечь его мысли от боли. Он поспешил в комнату Нормана. Мистер Ангус сидел на кровати и беспомощно смотрел на Нормана.

— Папа, — взмолился Норман, едва отец вошел, — скажи этому человеку, чтобы он уходил. Заявились какие-то люди, незнакомые, зашли ко мне в комнату, хотят меня забрать. Я ничего не сделал, папа, скажи им, что я здоров. Не дай им меня забрать.

В дверь позвонили, и мистер Ангус проворно пошел открывать.

— Они приехали за мной, — сказал Норман. — Папа, папа, — умолял он, — не дай им меня увезти.

Рабби Цвек обнял его.

— Это нужно, только чтобы ты поправился, — мягко произнес он и добавил: — Я поеду с тобой. Мы поедем вместе.

— Нет, нет! — вскрикнул Норман, отпрянул от отца и потрясенно уставился на него. — Папа? — сказал он снова, словно сомневаясь в правах отца на сына. — Так… так нельзя. — Норман недоверчиво распахнул глаза. Он смотрел на отца без ненависти, без обиды, но с абсолютным и наив-

ным неверием в то, что тот сказал. Этот взгляд рабби Цвек будет помнить до гроба.

— Идемте. — Новая фигура, очередной незнакомец, на этот раз в униформе, вошел в комнату Нормана. — Только тихо, — добавил он. — Не нужно поднимать шум.

— Посмотри на них, — говорил Норман, — они увозят меня, а ты стоишь и слова им не скажешь. Папа, — нежно продолжал он, — что с тобой? Тебе нехорошо? Может, ляжешь в постель? Хочешь, я за тобой поухаживаю?

Пока он говорил, незнакомец в униформе подошел к нему со спины и сделал знак мистеру Ангусу встать сбоку. Норман не почувствовал их перемещений.

— Ему нехорошо, — сообщил он им, не поднимая глаз. — Я должен уложить его в постель и вызвать врача.

Рабби Цвек взглянул в лицо Нормана и содрогнулся оттого, что сын невольно шантажирует его любовью и заботой. Потом, обхватив его слабеющими руками, прижал к себе Нормана с силой, которую тот запомнил по предсмертным объятиям матери.

— Мой отец умирает, — сказал он незнакомцу.

— Идемте, — ответил тот и взял его за руку.

— Обязательно надень макинтош, — всхлипывая, проговорил рабби Цвек. — Там дождик.

Мистер Ангус и незнакомец подхватили Нормана под руки и повели.

— Отпустите меня, — крикнул Норман. — Я должен остаться дома и ухаживать за отцом.

Потеряв терпение, мужчины схватили его и поволокли, босого, прочь из квартиры. Рабби Цвек заметил на полу брошенные ботинки сына.

— Надень ботинки, надень ботинки, — прорыдал он, не в силах вынести вида их, брошенных.

Незнакомец взял ботинки, швырнул к ногам Нормана. Тот беспомощно сунул в них ноги, уперев голые блестящие пятки в загнутые задники.

Рабби Цвек последовал за ними вниз. Со спины сын вдруг показался ему очень старым: редеющие черные волосы торчат во все стороны, халат задрался оттого, что мужчины ведут Нормана под руки, пижамные штаны сморщились под коленками. Рабби Цвек изумился, до чего волосатые ноги у сына. И возможно, впервые в жизни увидел в нем взрослого человека, даже пожилого, и достаточно пожилого, подумал он, чтобы скончаться от естественных причин.

На первый этаж, к черному входу в лавочку рабби Цвека, где продавались бакалейные и прочие,

самые разные товары, вели два марша лестницы: попасть на улицу можно было только этим путем. Нормана тащили под руки двое мужчин, но он не проронил ни слова: его мутило от несправедливости происходящего. Они подошли к узкой двери в лавку. За Норманом по полу волочился пояс от халата. Рабби Цвек наклонился и с нежностью поднял его, точно шлейф свадебного платья. Со сложенным поясом в руках он проследовал за остальными в магазин.

Белла обслуживала покупателя; какие-то женщины дожидались своей очереди у прилавка. Белла уставилась на маленькую процессию. Она знала, что придется поднять край прилавка, чтобы выпустить уходящих, но она тоже не хотела оказаться причастной к тому, что Нормана увозят, и не могла допустить, чтобы Норман увидел, как она в этом участвует. Покупательница, стоявшая подле откидной секции, случайная свидетельница, которую не в чем винить, подняла деревянную крышку, и Белла мысленно благословила ее за это.

— Тебе нужно ехать? — спросила она отца. Присутствие покупателей ни ее, ни его не смущало.

— Оставаться куда тяжелей, — ответил рабби Цвек.

Их троица подошла к выходу из лавки, и Норман, до той минуты хранивший молчание, вдруг обернулся к покупателям.

— У меня есть свидетели, — воскликнул он, — вы все свидетели того, что меня увозят. Меня хотят посадить в психушку, — добавил он и ужаснулся, осознав вдруг смысл своих слов. — Вы еще пожалеете, — заорал он, ни к кому конкретно не обращаясь. — Я засужу вас, я вас всех засужу. Вы за это заплатите.

Мистер Ангус и незнакомец вывели его на улицу, рабби Цвек последовал за ними, по-прежнему сжимая в руке пояс от халата. В дверях лавки обернулся к покупателям.

— Прошу прощения за беспокойство, — прошептал он.

Белла смотрела им вслед. Она увидела, как мужчины заталкивают ее брата на заднее сиденье черной машины, потом согбенную черную спину отца, который залез следом за ними. Она проводила взглядом машину и повернулась к покупателям.

— Дождь на улице, — сказала она.

3

За рулем сидел незнакомец с напряженной спиной. Норман был сзади, зажатый между мистером Ангусом и отцом; ни первый, ни второй, каждый по собственным причинам, не отваживались взглянуть ни на него, ни друг на друга. Норман подуспокоился, хотя рабби Цвеку казалось, что его плечи содрогаются от рыданий сына. Ему доводилось видеть, как плачут старики и маленькие дети, но взрослые мужчины — никогда. Он молился, чтобы больница оказалась недалеко. Что бы ни ждало его там, ему хотелось поскорее с этим покончить. В окно он видел, как молодые женщины делают покупки, а их дети носком ботинка ковыряют трещинки в тротуаре. Он вспомнил, что когда-то и Норман так развлекался. Рабби Цвек заерзал на сиденье. Его беспокоил желудок. Тело охватила усиливающаяся боль, не имевшая отношения к пугающим мыслям. Спину ломило, поясницу тянуло, живот то и дело сводили мучительные колики. Он никогда ничем не болел, а потому и не мог объяснить этих внезапных симптомов. А вдруг у Нормана тоже

что-то болит, подумал он и обернулся к сыну. Норман улыбнулся и наклонился якобы расправить задник ботинка. Внезапно он схватился за дверную ручку и дернул ее вниз, застав своих стражей врасплох. Ручка с щелчком вернулась в прежнее положение, и он понял, что дверь заперта снаружи. Не только попытку, но и его неудачу заметили: это было до того унизительно, что Нормана охватило дикое желание сбежать. Он забарабанил кулаком по стеклу.

— Помогите, помогите! — крикнул он.

Проходившие мимо люди оглядывались на безумное лицо за окном.

— У вас там всё в порядке? — спросил водитель, не поворачивая головы.

Норман вскочил, снова забарабанил по стеклу, стараясь привлечь внимание прохожих.

— Остановите, если увидите полисмена, — велел мистер Ангус водителю.

— Нет-нет, — запротестовал рабби Цвек. — Позвольте я попробую. Норман, — взмолился он, — сядь, пожалуйста, пожалуйста, ради меня. Не надо полисмена, — упрашивал он мистера Ангуса. — Я сам с ним справлюсь.

Мистер Ангус, обхватив Нормана за пояс, пытался повалить его на пол.

— За ноги хватайте, — крикнул он рабби Цвеку, но рабби Цвек этого сделать не мог. Сын в своем безумии обрел нечто вроде неприкосновенности, которая для рабби Цвека была почти что священной. Он беспомощно наблюдал, как мистер Ангус уронил-таки Нормана на пол. После этого мистер Ангус уселся на место и поставил на Нормана ноги, как победитель.

— Не надо полисмена, — сказал мистер Ангус шоферу. — Теперь он никуда не денется. — Он с некоторым раздражением отряхнул костюм и ногой надавил Норману на живот. — Замолчите уже, — отрезал он, — вы и без того причинили нам немало хлопот.

Даже те, чья работа — общаться с сумасшедшими, считают их грешниками, которых следует наказать. Рабби Цвек наклонился и погладил сына по голове. Со лба его лился пот, и рабби Цвек пальцами ощутил жар.

— У него же температура, — возмущенно сказал он мистеру Ангусу.

— И если бы только это, — ответил мистер Ангус.

Дома остались позади, и вскоре машина выехала за город. Рабби Цвек съежился в пальто, стараясь отъединиться от окружающих, и глу-

боко сосредоточился на ситуации, реальность которой не укладывалась в голове. Всё это время он, не отрываясь, смотрел на Нормана, взглядом изливая на него всю отцовскую любовь в надежде, что Норман поймет.

Но лежащий на полу Норман не чувствовал ни устремленного на него взгляда, ни даже ботинка, неприятно давившего на живот. Он таращился в потолок, обитый черным дерматином, пузырившимся и трескавшимся в углах. И чем дольше он смотрел, тем больше ему казалось, будто потолок опускается, обвивает его, точно легкие пелены его собственного умирания, незаметного для посторонних. Вот что он чувствовал, лежа на полу машины: он словно бы уклонялся, убегал от сомнений, прятался от подозрений, своих и чужих, смиренно отворачивался от неизвестности. Он закрыл глаза и целиком отдался охватившему его покою и радости. Отец взглянул в его лицо и увидел, как Норман медленно расплывается в улыбке.

— По крайней мере, он счастлив, — подумал рабби Цвек, и его поглотила безбрежная нежность. Он толкнул локтем мистера Ангуса, приглашая разделить это минутное облегчение.

Мистер Ангус улыбнулся.

— Мы почти приехали, — сказал он, — скоро всё кончится.

Рабби Цвек совсем позабыл, куда они едут, и вздрогнул от этого напоминания. Машина петляла узким проселком, по обеим сторонам которого не встречалось ни единого признака того, что эти места обитаемы, — далекий, глухой предвестник изоляции более строгой.

Вдруг Норман открыл глаза. Он почуял окружающую темницу. Попытался встать, но ботинок мистера Ангуса еще сильнее надавил ему на живот.

— Выпустите меня, — завопил Норман.

— Скоро мы вас выпустим, — заверил мистер Ангус. — Почти приехали.

Норман заметил, что машина свернула и покатила по лесистым больничным угодьям. Потом резко затормозила, так что мистеру Ангусу, чтобы не упасть, пришлось еще сильнее упереться ногой в живот Нормана. Острая физическая боль на миг затмила для Нормана и саму ситуацию, и того, кто послужил ее причиной, и вопрос, как он тут оказался и почему. Норман знал, что за болью кроется долгая неловкая история, отчасти позабытая, но оттого не менее мучительная. Но сейчас он не мог думать ни о чем, кроме боли.

Норман держался за живот, мистер Ангус с шофером вытаскивали его из машины.

— В чем дело? В чем дело? — воскликнул рабби Цвек, невольно надеясь, что чудачествам сына в конце концов нашлось подлинное, осязаемое объяснение. — Аппендицит, — торжественно объявил он и прокричал о своем открытии мужчинам в белых халатах, которые шагали к ним по больничному коридору. — Его нужно везти в больницу. Немедленно.

— Мы о нем позаботимся. Не беспокойтесь, — сказал рабби Цвеку медбрат. — Чего они только не выдумают, лишь бы отсюда сбежать, — непринужденно продолжал он, словно рабби Цвека с вновь прибывшим связывали исключительно деловые отношения.

— Я его отец, — пояснил рабби Цвек.

— Присядьте пока, — любезно предложил медбрат.

Но рабби Цвек не хотел выпускать Нормана из виду. Они подошли к приемной главного отделения. Здесь стояли ряды столов, ходили туда-сюда мужчины с заварочными чайниками и тарелками хлеба с маслом. Выглядели они бесконечно уязвимо, как всякий человек в пижаме, беспомощный, обнаженный и беззащитный. Один из

них, с лысой головой, похлопал проходившего мимо Нормана по руке. Новые лица всегда будоражили отделение, разбавляли обыденную монотонность безумия. Со временем устаешь от человека, уверяющего всех в том, что он улитка, или от того, кто глотает всё, до чего может дотянуться. Возможно, очередной пациент внесет хоть какое-то разнообразие.

— Здорово, приятель, — произнес лысый. — Христос ждет тебя. Надевай пижаму, и я отведу тебя к нему.

— Скажешь тоже, Гарри. К нему надо идти в костюме, — вмешался другой пациент. Жалкий юмор безумца, смеющегося над безумцем.

Лысый с чайником чая поплелся прочь, улыбаясь про себя. Потом, словно вдруг вспомнил что-то, устремился обратно к Норману.

— Нас тут помешанными считают, — громко прошептал он. — Но мне всё равно. Христос принимает только помешанных, и я не хочу быть непомешанным.

Эту последнюю фразу он прокричал, чтобы слышали его чаевничающие коллеги. Одни посмеялись; другие слишком ушли в себя и даже не услышали. Он выпустил рукав Нормана.

— Аллилуйя, — воскликнул он, перекрестился

свободной рукой и вприпрыжку побежал меж столов. — Аллилуйя, я балбес, аллилуйя, вот балбес, — распевал он, пока медбрат не усмирил его и, похлопав по спине, усадил на стул.

Сжавшееся пространство Норманова душевного здоровья вдруг сфокусировалось. Он посмотрел на отца, одним взглядом вобрал и его, и гротескное окружение, произнес:

— Спасибо за то, что ты со мной сделал. Спасибо.

Рабби Цвек схватился за стул. Медбрат помог ему сесть.

— Вам не в чем себя винить, — сказал он. — Вы поступили как лучше для него.

Нормана увели в комнатушку в конце чайного коридора, рабби Цвек увидел, как за ним закрылась дверь. Он уставился на заляпанную белую скатерть. Заметил, что напротив сел человек. Увидел, как пальцы с грязными ногтями ставят на стол тарелку с хлебом и маслом, выливают коричневый чай из блюдца обратно в чашку. Рабби Цвек заметил, что на некоторые куски хлеба с маслом тонким слоем намазано малиновое варенье. Признательный и за эту ничтожную роскошь, он улыбнулся сидящему напротив человеку. Ему хотелось поговорить с ним, с этим

пожилым человеком. Ему хотелось хоть кому-нибудь рассказать о сыне, хотелось оставить Норману защитника на всё время, что он будет в лечебнице.

— Давно вы здесь? — робко поинтересовался он.

Старик не ответил.

Рабби Цвек попробовал снова.

— Вы скоро вернетесь домой? — спросил он.

Старик откусил кусок хлеба и отпил чай.

— Вы хорошо себя чувствуете? — уточнил рабби Цвек. Старик вышел из-за стола, сунул в рот недоеденный хлеб с маслом, обеими руками взял чашку с чаем, демонстративно направился в коридор и скрылся в палате.

— Отстаньте от меня. Нет у меня ничего в карманах, — закричал за дверью Норман.

Рабби Цвек машинально встал, чтобы идти выручать сына, но не успел он подняться, как руки медбрата преградили ему путь.

— Что они с ним делают? — прошептал рабби Цвек.

— Обычная проверка, — ответили руки. — Вдруг он в карманах прячет таблетки и будет их здесь принимать. Мы должны убедиться, что всё в порядке.

Рабби Цвек кивнул. Такие порядки он одобрял. Невыносимо было лишь унижение сына.

— Надо найти убийцу, который их ему продает, — решил он про себя. — А иначе он выйдет и снова начнет. Как вернусь домой, проверю все ящики, переверну весь дом, но найду их, я их найду… — Туг он понял, что разговаривает сам с собой, поднял глаза и увидел, что напротив снова сидит человек, на этот раз помоложе. Ногти у него были чистые, аккуратно подстриженные; в одной руке человек держал чашку, в другой бутерброд и изящно откусывал от него. Он улыбнулся рабби Цвеку.

— Ваш сын играет в шахматы? — ласково спросил человек. Судя по выговору, деньги у него водились.

— Да, — с надеждой ответил рабби Цвек: вдруг незнакомец ровня Норману?

— Это хорошо, — сказал человек. — Я уже полгода не играл. С тех пор, как выписался последний шахматист.

— Давно вы здесь? — почти с опаской поинтересовался рабби Цвек.

— В этот раз полгода.

— В этот раз?

— Я уже был здесь год.

Рабби Цвеку хотелось спросить, что с ним такое. Вдруг то же, что и у Нормана? И Норману, как и этому человеку, придется сюда возвращаться?

Человек поднес чашку к губам, и рукав его шелкового халата задрался почти до локтя. Запястье охватывали красные шрамы — браслет самоубийцы. Рабби Цвек вздрогнул.

— Я присмотрю за вашим сыном, — пообещал человек. — Не волнуйтесь за него.

— Он не очень хорошо играет в шахматы, — сказал рабби Цвек, стараясь разубедить человека в том, что за Норманом надо присматривать. — Вообще-то, — продолжал он, — мой сын Норман не любит шахматы, разве что играть с самим собой. Это ему нравится.

Он собирался было добавить, что и чужое общество его сын недолюбливает, как вдруг дверь в конце чайной комнаты открылась, и он увидел Нормана, укрощенного, измученного и босого, цепляющегося за руку медбрата, который встретил их по прибытии. На отца он не смотрел. Побрел в палату вслед за медбратом, точно ребенок, которого мать ведет в парк. Рабби Цвек смотрел, как сын и волочащийся за ним пояс халата скрылись за дверью. Он не знал, что делать. Пойти в палату и увидеть там Нормана было

страшно, но и уехать тоже. Он сидел, проклиная безымянного поставщика, и грозился вслух, что обязательно его найдет.

Чуть погодя из палаты вышел медбрат и направился к нему.

— Теперь вы можете повидать сына, — сказал медбрат. — Он уже угомонился. Мы дали ему успокоительное, он скоро уснет.

— Он попросил меня прийти? — уточнил рабби Цвек.

— Идите повидайте его, — ответил медбрат и помог ему подняться со стула.

Рабби Цвек оробел. Что, если Норман не хочет его видеть, но и отказаться не сможет, ведь он, должно быть, в постели, беспомощный? Да и разве осталось что-то невысказанное между ними, что оба могли бы облечь в слова? Но и не пойти он не мог, поскольку медбрат уже вел его в палату. Рабби не знал, что увидит за закрытыми дверьми. Пока ждал, он видел, как оттуда выходили люди с одинаково невыразительными лицами — надежды не было ни у кого, и всё же они надеялись.

Вдоль стен палаты тянулись нескончаемые ряды коек, расставленных с пугающей аккуратностью. Одни были заняты, на других громоздилось накрытое одеялом отчаяние, те же, что попались

по пути, пустовали. Между двумя рядами коек шаркали люди в шлепанцах, туда-сюда, вперед-назад, словно ждали поезда на станции, где он никогда не ходил. Рабби Цвеку хотелось домой. Но он уже заметил Нормана, точнее, его скрюченную фигуру на кровати в середине палаты. И хотя фигура выглядела точно так же, как любая другая — спокойная, сдержанная и пустая, — по внезапной резкой боли в паху он сразу же догадался, что это его сын. Медбрат пододвинул стул, чтобы рабби Цвек присел у кровати, и оставил его одного.

Рабби Цвек коснулся груды на кровати.

— Норман? — позвал он. — Это папа.

Одеяло не шевельнулось. Рабби Цвек решил, что Норман его не слышал, встал и наклонился над грудой.

— Норман, — повторил он, — это папа.

— Забери меня домой, — прошептал Норман.

Рабби Цвек огляделся. К ним направлялся человек с шахматной доской. Рабби Цвек покачал головой.

— Не сейчас, — шепотом сказал он подошедшему. — Он хочет спать.

Шахматист с досадой пожал плечами, медленно отошел и присоединился к группе шаркунов

меж рядами кроватей.

— Норман, — снова позвал рабби Цвек.

Норман откинул одеяло с лица. Он всхлипывал.

— Что они сделали с тобой в той комнате? — спросил рабби Цвек.

— Ты сам отправил меня сюда, — ответил Норман.

— Для твоего же блага. Так говорят врачи. — Ему не хотелось брать на себя ответственность.

— Но, папа, ты же сам разрешил им увезти меня. Ты мог их остановить. Забери меня домой. Пожалуйста. — Норман расплакался.

Рабби Цвек старался сохранять твердость.

— Побудь здесь немного. — Он обхватил ладонями голову Нормана. — Всего несколько дней. Если ты сегодня вернешься домой, снова начнешь принимать таблетки.

— Не начну, не начну, — крикнул Норман. — Обещаю. Я к ним больше не прикоснусь. Никогда. Я же вижу, как они на меня влияют. Обещаю.

Из его опухших глаз лились слезы, и рабби Цвек не выдержал. Он уже сомневался, правильно ли поступил. Даже подумал, не забрать ли Нормана тайком. Он взглянул на соседнюю койку. Раньше там никого не было, теперь же, подложив под

спину подушки, сидел человек и таращился на него.

— Что смотрите? — заорал рабби Цвек. — Не ваше дело. — Его охватила ярость отчаяния. — Это мой сын, — крикнул он. — Что смотрите?

Человек по-прежнему таращился на него.

— Что смотрите? — снова выкрикнул рабби Цвек.

Норман сел на кровати.

— Пап, тише, — сказал он. — Не обращай внимания. Он сумасшедший. Они тут все сумасшедшие. Забери меня домой. Пожалуйста, — умолял он.

— Я поговорю с врачом, — пообещал рабби Цвек и сразу же пожалел об этом. Как бы ни было тяжело, он вынужден оставить сына в этом месте.

— Так иди и поговори, — сказал Норман и добавил великодушно: — Я тебя здесь подожду.

— Послушай, — ответил отец, — ты должен остаться. Это для твоего же блага, — беспомощно пояснил он. — Пожалуй, не очень долго ты тут пробудешь. Я спрошу у врача, — снова не удержался он.

— Иди и спроси.

— Как буду уходить, зайду и спрошу.

Норман с ненавистью посмотрел на отца.

— Вот что я тебе скажу, — произнес он. — Я

так же здоров, как и ты, что бы это ни значило, но, если останусь в этой психушке хотя бы на несколько дней, обязательно рехнусь, как эти. Я тебе клянусь. Ты хочешь, чтобы я рехнулся?

К койке подошел медбрат и жестом показал рабби Цвеку, что пора уходить. Рабби Цвек обрадовался медбрату и тут же устыдился того, что при виде него почувствовал облегчение.

— До свидания, Норман, — сказал он, ненавидя себя за слабость. — Мне пора. Дольше сидеть не разрешают. А ты поспи.

Норман укрылся одеялом.

— До свидания, Норман, — повторил рабби Цвек.

Ответа не последовало. Рабби Цвек наклонился, поцеловал холмик под одеялом, и медбрат мягко увел его прочь.

За дверьми отделения он спросил, можно ли видеть врача. Но, как ему предстояло узнать в последующие визиты, в психиатрической больнице застать врача не так-то просто. Только если приехать в определенный час и в определенный день. В прочее же время приходилось довольствоваться общением с медбратьями и бесчисленными санитарами, развозящими тележки с транквилизаторами: они ежечасно лавировали

между кроватями, раздавали суррогаты иллюзий или забвения. Нет, он не хочет видеть медбрата, сказал рабби Цвек. Ему нужно видеть врача.

— Его нет и до завтра не будет.

— Тогда с кем можно поговорить? — робко спросил рабби Цвек.

— Можете поговорить с дежурным медбратом.

Рабби Цвека отвели в комнату, куда до того забирали Нормана. К его удивлению, она оказалась маленькой и безобидной: стол, пара стульев, тележка с лекарствами. За столом сидел медбрат в белом халате. При виде рабби Цвека он поднялся и пододвинул ему стул. Под стулом рабби Цвек заметил один из Нормановых ботинок — пустой, с загнутым задником — и расплакался, не скрываясь и не стыдясь. Медбрат сжал его руку.

— С ним всё будет хорошо, — сказал он. — Это самое трудное время, в особенности для вас.

— Сколько ему придется здесь пробыть?

— Не могу вам сказать, — ответил медбрат. — Завтра его осмотрит врач.

— Мне приехать завтра? — спросил рабби Цвек.

— Лучше подождать несколько дней. Можете звонить в любое время.

— Где он их только берет? — сказал рабби

Цвек. — Я выясню, я обыщу весь дом. Я узнаю, кто их ему дает. — Он в отчаянии рухнул на стул.

— Об этом не беспокойтесь, — сказал медбрат. — Пусть сначала оправится. Через несколько дней он здесь освоится. И ему даже понравится.

Рабби Цвек вздрогнул. Он не хотел, чтобы сыну здесь нравилось. Он хотел, чтобы Норман оказался дома и был хорошим сыном, без всяких серебристых рыбок.

— Дома он видит *их*, — вяло проговорил он. — Везде он видит *их*. Он чувствует *их* запах, слышит *их*. *Они* живут с ним. Почему мой сын? Мой умный сын, — заключил он, обращаясь скорее к самому себе.

Медбрат наклонился над столом.

— Рабби, — мягко произнес он, — если бы ваш сын вышел в сад, вернулся и сказал: «Отче, я видел горящий куст», — неужели вы не благословили бы его?

Он проводил рабби Цвека до дверей. В коридоре его ждал шофер. Мистера Ангуса уже не было, и долгий путь домой рабби Цвек проделал один.

— Я обыщу весь дом, — снова и снова обещал он себе, а в ушах его стоял голос Нормана, умолявшего забрать его домой.

Когда он вернулся, лавка была пуста, только

Белла сидела за прилавком. Ей, как и отцу, не хотелось обсуждать произошедшее. Она пыталась уговорить его лечь в постель, но он не желал отдыхать. Рабби Цвек поплелся наверх, в квартиру, и, не снимая пальто, направился в комнату Нормана.

4

Сперва рабби Цвек в исступлении открывал ящик за ящиком, лихорадочными пальцами обшаривая содержимое. Потом, обессилев, сел на кровать. Он понимал, что это дело отнимет у него немалое время. В материалах не было недостатка: каждый клочок бумаги мог оказаться подсказкой или подсказкой для подсказки, где искать убийцу сына. А может, даже убийц, целую шайку душегубов, чьи карманы полнились тем, чего жаждал его сын.

Перед смертью жена, благослови Господь ее душу, отдала эту комнату со всем скарбом Норману. И бумаги, которые жена скопила за годы жизни, по-прежнему лежали здесь; в них и раньше царил беспорядок, а теперь, когда к ним добавились документы Нормана, тем более. В первой же стопке рабби Цвек наткнулся на свидетельство о браке, школьные табели, метрики, сложенные как попало, без соблюдения хронологии. Да, дело обещало быть долгим, и одному Богу известно, какие несущественные, но мучительные подробности еще откроются. Он поежился в пальто. Его

знобило. Сидя на кровати подле переворошенных ящиков, он чувствовал себя вором и уже ненавидел себя за то, что взялся за поиски. Никто не вправе вторгаться в чужую жизнь, как он сейчас; вопиющая аморальность того, чем он занимался, внушала ему отвращение. Рыться в чужих карманах можно, только если человека уже нет на свете, но и тогда в этом жесте сквозит подлость. Однако сделать это необходимо, да простит его Господь за такое вероломство. Он искренне надеялся, что Норман сейчас спит.

Он встал с кровати, посмотрел на комод. Нужно с чего-то начать. Рабби Цвек опустился на колени, перебрал связки бумаг в поисках того, что как можно меньше скомпрометирует сына, как можно меньше нарушит тайну личной жизни. Это пока, пообещал он себе, а уж потом он возьмется за дело как следует. В одном из ящиков обнаружились дневники Нормана и стопка писем, но он к ним не прикоснулся. Он боялся даже заглядывать в них и, зажмурясь, сунул в глубину комода в надежде, что больше никогда их не найдет. Потом наткнулся на ветхий выцветший пергамент. Положил документ на пол, раскрыл, и пергамент чуть треснул на сгибах. Он аккуратно расправил пергамент. На нем стояли государственные штам-

пы и красная печать: он узнал свое свидетельство о натурализации и улыбнулся. Находка его обрадовала. Она не имела отношения к Норману. То была часть его собственной жизни, причем настолько давней, что ее можно было исследовать, ни о чем не беспокоясь. Он попробовал дать команду памяти, чтобы она воскресила начало этой истории. В окружающем хаосе нарушенной последовательности ему отчаянно хотелось упорядочить хотя бы одно: себя самого и начало своей жизни в Англии, задолго до Сары, благослови ее Бог, его жены, и Нормана, помогай ему Бог, его сына. Ему хотелось стряхнуть годы брака и отцовства, рождение детей и смерть Сары. Хотелось отшелушить пережитое, стесать себя до упрямой коротконогой щепки, откликавшейся на имя Авраам Цвек.

Он простер ладонь над документом, мысленно перенесся на корабль, что привез его в Англию, и схватился за леер, стараясь удержать воспоминание. Сейчас, в тревоге и печали, ему непременно требовалось сбежать в прошлое, ведь настоящее было невыносимо. Он крепко вцепился в леер. И не выпускал, пока в самом деле не почувствовал под руками холодную сталь. А ощутив в кулаке холод металла, укрылся в двадцатитрехлетней

своей оболочке, что почти полвека назад в страхе смотрела на новую землю.

Очертания берега наводили тоску. В море ничто не имело значения — ни реальность новой жизни, что ждала его где-то там, ни память о разорванных связях дома, в Литве. Но теперь, завидев далекий берег, он снова переживал боль отъезда и снова страшился того, что ждет его по прибытии. Он никогда больше не увидит родителей. В этом не было никакого сомнения. И они тоже это знали. Его братьям, успевшим обзавестись женами и детьми, уехать было труднее, вот и отправили его, младшего, разведать, как там и что, а потом послать за ними. При мысли об этой ответственности его охватила дрожь — и легкое раздражение из-за возложенных на него ожиданий.

Он повернулся спиной к надвигающемуся берегу. Оглядел себя. Маленькие черные ботинки, белые шерстяные носки неряшливо торчат из-под долгополого черного пальто. Расстегнутая нижняя пуговица касается белых гамаш. Тень его широкополой шляпы пересекла носки ботинок, он наклонился вперед, его пейсы тоже, они отбрасывали тень, он покачал головой, чтобы совместить тени шляпы и пейсов с ботинками.

Наконец он нашел положение, в котором вся картина выглядела симметрично: посередине ботинки, тень шляпы ровно над их носами, пейсы по бокам. И не шевелился, пока в его тень не шагнули форменные ботинки и не перекрыли ее. Авраам Цвек поднял голову и увидел улыбающегося офицера.

— Через полчаса причаливаем, — сообщил тот.

Авраам Цвек вскинул брови. Самый безопасный жест, когда не знаешь языка. Может выражать и «да», и «нет», а также нюансы «возможно» и «тем не менее». Офицер пошел дальше, Авраам Цвек повернулся и снова уставился на берег, который неожиданно подкрался к нему со спины, твердый и неопровержимый.

Он сунул руку во внутренний карман, в который раз проверяя, на месте ли клочок бумаги с именем единственного человека, к кому он мог обратиться в этом чужом приближавшемся мире. Он уставился на мятую записку. Человека звали рабби Соломон, и жил он в доме номер шестнадцать по неудобочитаемой улице, после названия которой стояли буквы E. 2[9]. Он сошел по трапу на нижнюю палубу. Там в углу он оставил сверт-

---

[9] Примечания: 9
Почтовый индекс района на востоке Лондона.

ки с вещами, а сам поднялся подышать воздухом. Теперь нужно было их забрать. Он поднял свертки, бечевка соскользнула, и из-под оберточной бумаги выглянул второй слой — русские газеты. Он попытался стянуть края бумаги, но бечевка совсем свалилась, и он обнаружил себя посреди рассыпавшихся скатанных носков, шерстяного исподнего, молитвенников, тут же лежали его талес и одинокая белая гамаша. Он встряхнул бумагу, высвобождая то, что осталось внутри. Выпала вторая гамаша, и только. Он вздрогнул от унижения. Он просто-напросто бедный еврей, который даже не может толком упаковать сверток, в чем народ его изрядно преуспел. Он поднял молитвенник, поцеловал, выпрямился и огляделся. Да, это вся его собственность. Вся его суть: тело и средства к существованию. Рассыпавшись, сверток обнажил его; он вдруг осознал, что на него смотрят, и устыдился — не бедности, но наготы. Придерживая на промежности полы черного альпакового пальто, он наклонился подобрать остатки своей личности. Помедлил, дожидаясь, пока разойдутся зеваки. Потом сел на палубу и надежно перевязал сверток, а закончив, спустился за пассажирами по сходням.

Он проследовал за ними в Лондон — через

таможню, на поезде, время от времени приподнимая бровь и не проронив ни единого слова. Сам не помнил, как добрался до адреса в восточной части Лондона. Помнил лишь, что на него все глазели на улицах и в диковинных трамваях, и он то и дело проверял, цела ли бечевка. Мало-помалу на него перестали смотреть. Навстречу попадались мужчины в белых гамашах, длинных пальто и со свертками под мышкой, точь-в-точь как он сам. Один даже поздоровался с ним на его родном языке. Возле продовольственных лавочек, совсем как дома, стояли бочки с маслинами и селедкой. И у него отлегло от сердца — впервые с тех пор, как он уехал.

Приободрившись, он зашел в одну из лавок и показал свой клочок бумаги стоявшему за прилавком человеку. Тот смерил его взглядом и обратился к нему на идише. Откуда он приехал? Кто он? А его отец? Чем занимается? Да, он знает, последнее время дела идут хуже. С каждым месяцем из хейма[10] приезжает всё больше и больше народу. Да и здесь немногим лучше. Антисемитизм? Полно. А чего вы хотели? Везде, где есть евреи, есть и антисемитизм. Хватает ли мне

---

[10] Примечания: 10
Из дома (*идиш*).

на жизнь? Четверо дочерей у меня. Приходится зарабатывать. А вы чем думаете заняться, молодой человек? Чем зарабатывать на жизнь? Рабби хотите стать? Можно подумать, нам не хватает *раббаним*. Что ж, каждому свой *гешефт*. Тут человек осекся, посмотрел на вновь прибывшего, поднял крышку прилавка и пригласил:

— Заходите. Стакан чая с лимоном вам точно не помешает. Реб Соломон живет в двух шагах отсюда. Моя дочь вас проводит.

В комнатушке за прилавком располагалась кухня. Там сидели дочери, все четыре, похожие с лица и со спины; они отворачивались и дружно хихикали.

— Сэди, Сара, Лия и Рахель, — представил отец свое потомство. — Стакан чаю с лимоном нашему гостю.

Все направились к стоявшему посередине стола самовару. Одна из дочерей улыбнулась, и ей-то Авраам Цвек отдал свое сердце. Сразу и навсегда. Она была примерно его лет, может, чуть младше.

— Вы которая? — спросил он ее на идише.

Девушки снова захихикали.

— Гойки, вот кто мои дочери. На идише двух слов связать не могут. Сара, — крикнул он, — скажи этому господину, как тебя зовут.

Она кивнула. Да, так ее и зовут, как сказал отец. Но необходимость представиться вогнала ее в краску.

Авраам Цвек взял стакан чаю, который вручила ему другая сестра. Всё случилось так быстро. Еще несколько минут назад он был чужаком и всё вокруг казалось ему непривычным, над ним смеялись, преследовали по пятам, оскорбляли. И вдруг он обнаружил, что вокруг такие же, как он сам, совсем как дома, в такой же одежде, говорят на том же языке, у них те же лавки, и те же заботы, и такие же дочки на выданье. Он вдруг почувствовал, что нашел своих. Сунул в рот кусочек сахару и принялся шумно хлебать чай. Совсем как дома.

— В раввины вам нечего и соваться, — говорил отец. — Вам, — он смерил его оценивающим взглядом и продолжал, точно знал его долгие годы, — лучше в торговлю. Собственная лавка, женитесь, дети пойдут. И никаких хлопот. — Он примолк, задумавшись о собственном житье. Вряд ли оно подтверждало правильность совета. Однако он тут же нашелся: — Особенно если жена будет помогать, — добавил он. — Бедная Шейла, когда девочки были совсем маленькие, ее не стало. Новую жену надо было взять, пожалуй, —

сказал он, — но это уже не то. В общем, забудьте вы о *рабонишкайт*, — почти прокричал он. — И найдите себе дело. Собственное дело. Сара, — окликнул он, — еще стакан чаю для господина.

Они разговорились. О городке Авраама, его родителях, их трудной жизни. Знакомая история. Все они на один лад, штетлы в восточной Европе, да и в западной: корни те же. Лавочник бегло говорил на идише, время от времени вставлял на английском словечко-другое, о значении которого Авраам Цвек догадывался по общему смыслу фразы. В первые годы в Англии он так и выучил язык — подхватывая отдельные слова, которые собеседники не знали на идише. Такие слова, как гардероб, электрообогреватель, консерватор. Сотни разрозненных слов, совокупность которых дала Аврааму Цвеку богатый словарь, но бедный язык. Изъяснялся он совсем как его друзья, только наоборот. Он перемежал свой спотыкающийся английский идишскими словечками в скобках. Живущие по соседству понимали его так же, как он их, и учили идиш по его речи. Такой вот языковой обмен.

Сара принесла чай. Авраам благодарно улыбнулся, но она засмущалась, отвернулась и встала из-за стола. Отец похлопал ее по руке.

— Моя старшенькая, — сказал он. — Как маленькая мамочка. Правда, *мамеле*? — окликнул он дочь. Сестры захихикали. Лавочник заметил, что Авраам смотрит на нее, и подался к нему над столом: — Лучшая, она лучшая, — прошептал он.

Они выпили чай. Авраам снова спросил, как пройти к дому реб Соломона.

— Сара вам покажет, — ответил лавочник. — Тут недалеко. Сара, иди возьми пальто. — Повернулся к Аврааму и добавил на идише: — Может, хотите сходить наверх?

Аврааму хотелось остаться и смотреть на Сару. Но и поглядеть, насколько еврейский верхний этаж в Англии похож на тот, что в доме его родителей, тоже было любопытно. Он ответил, что пойдет наверх.

Перегнувшись через перила, лавочник показал ему, куда идти. Когда хозяин скрылся из виду, Авраам прошелся по комнатам. В одной из них прислонился к двери и уставился на стоявший напротив комод.

Рабби Цвек вздрогнул. Вот он, этот комод, пятьдесят лет спустя, и в ящиках по-прежнему Сарины вещи. Он сморгнул, чтобы в глазах прояснилось, и то, что в его памяти было «там», теперь, когда он очнулся, вдруг стало «здесь». Да, эта самая

комнатка над лавкой досталась Саре от отца. Рабби Цвек перевел взгляд с комода на кровать, потом снова уставился на выдвинутые ящики и с ужасом вспомнил, что делает.

— А-а-а, — простонал он, складывая свидетельство о натурализации по первоначальным сгибам.

Недалеко же он ушел за полвека после приезда. В окне он увидел боковую дверь синагоги и стайку детей, выходивших с урока иврита. Наверняка он учил еще их бабушек и дедушек в тех же душных комнатушках подле каморки сторожа. И женил их родителей, соединял их под хупой по закону Моисея и Израиля. Сорок лет он служил в этой синагоге, сперва учеником рабби, потом учителем и раввином, впоследствии же, когда число прихожан сократилось, по совместительству и кантором. Теперь на уроки иврита ходит лишь горстка детишек, и кто знает, где и с кем они сочетаются браком? Он вспомнил о своей дочери Эстер, которая некогда тоже вела здесь уроки, и вздрогнул при мысли о том, за кого она вышла замуж. Он подошел к окну. От двери его лавки на первом этаже до двери синагоги были считаные шаги, и на этом клочке земли сосредоточилась вся его жизнь. Сорок лет в раввинах, потом, уда-

лившись от дел, перешел дорогу и стал помогать Саре в лавке; он окинул взглядом крошечные пределы, заключившие в себе столько печали.

И снова с надеждой подумал, что Норман сейчас спит. Оглядел захламленные ящики, обнаженную частную жизнь жены и сына.

— Ох, — пробормотал он, — если бы он увидел горящий куст, как сказал тот медбрат, я бы таки благословил его. Но серебристые рыбки?

Он вздрогнул, сбросил ботинки, устало забрался на Норманову постель, помедлил, гадая, какую избрать половину, Нормана или Сары, а потом, словно признав их равную и мучительную печаль, растянулся поперек и соединил их обеих.

5

Нормана разбудила боль. Он знал лишь один способ избавиться от нее и, еще не открыв глаза, подумал о половице под кроватью: эта мысль его успокоила. Но что-то пригвоздило его к постели, страх случившихся перемен, подозрение, что половицу убрали или даже наконец приколотили на место. Он вздрогнул. Не отваживаясь открыть глаза, он в темноте попытался подтвердить или опровергнуть перемену, которой боялся. Он ощупал простыни. Они были жесткие и шершавые. Но, быть может, Белла перестелила постель и они просто свежие? Он погладил подушку. Наволочка тоже оказалась накрахмалена, но и этому легко было подыскать объяснение. Он робко выпрямил ногу, чтобы сунуть пальцы в безопасную щель материной половины. Медленно тянул ногу наружу, остановился там, где должна быть щель. Нащупал холодную железную раму. И содрогнулся. Нужно признать очевидное. Он не у себя в кровати.

Он прижал ладонь к сердцу, чтобы утишить его испуганные толчки. Он обязан ради собственного

тела отыскать причину перемен. С самим собой он как-нибудь разберется, но нужно обмануть сердце. «Ты вчера приболел, — сказал он себе, — и Белла перевела тебя в свободную комнату с узкой кроватью». Вот оно что. Осталось придумать, как вернуться в свою комнату, к половице. Но ведь там, вероятно, спит отец. Ничего, он подождет. Да, легко ждать с закрытыми глазами, зная, что от половицы тебя отделяют всего лишь две двери. Тут его снова пронзила боль. Придется открыть глаза и встать. Всё так же зажмурясь, он спустил ноги с кровати и, коснувшись холодного линолеума, с пугающей уверенностью осознал, что все-таки он не дома. Дома был ковер, дом был заражен от края до края, дом от стены до стены был полон чужой слепоты. Сидя на кровати, он распахнул глаза, стараясь обуздать тревогу. К нему приближался санитар с тележкой транквилизаторов. Остановился у Нормановой кровати, вытряхнул из стоявшего на тележке пузырька две розовые пилюли, потянулся к тумбочке за стаканом. Налил воды, подошел к Норману, протянул пилюли и сказал:

— Примите это, и вам станет легче.

Голос его звучал ласково. Обошлось без белохалатных «доброе утро, как мы себя чувствуем

сегодня». Он вмиг распознал Норманов страх.

— Выпейте, — продолжал он, — и я принесу вам чай.

Норман смотрел на розовые таблетки, лежащие на ладони санитара.

— Мои другого цвета, — отрезал он.

— Такого, пока вы здесь, — ответил санитар и негромко хохотнул, смягчая категоричность.

— Розовые, — фыркнул Норман. — Нет уж, спасибо. Я на розовые не куплюсь.

Он уже пил такие, розовые. Доктор Леви не раз глушил его розовыми. Он называл их «транквилизаторами», однако Норман отлично знал, что это на самом деле такое. Эти пилюли не давали ему видеть серебристых рыбок; Леви пытался превратить его в наркомана. Эти пилюли прогоняли его рыбок, чтобы отец и Белла могли сказать: «Мы же тебе говорили. Мы же говорили, что *их* нет».

— Розовые, — насмешливо повторил он, — цвет «будь пай-мальчиком», цвет «перестань меня доводить». Цвет «избавимся от доказательств». Нет уж, спасибо, сами их пейте. На здоровье.

Голос его осекся от мучительной боли, и он отвернулся от санитара. Не хотел, чтобы чужой заметил его беспомощность.

— А белых у вас нет? — с мольбой спросил он.

— Примите эти, — сказал санитар, взял руку Нормана и сжал его пальцы вокруг стакана. — Они от боли, — добавил он.

Что угодно, что угодно, лишь бы не болело. Даже розовые. Норман, не оборачиваясь, взял таблетки. Их цвет словно издевался над ним. Если долго смотреть на них, они станут белыми. Он силой мысли обратит их в белые, и они принесут ему кайф, величайший неописуемый кайф, который дарили белые. Но это было давно, признался он себе. Он вынужден был признать, что в последнее время кайф стал описуемым, разбавленным и рутинным. И женщина, и ласки, которым способствовали белые, — всё это тоже было давно, так давно, что желание испарилось. Он проглотил таблетки, не притронувшись к воде. Он никогда не осквернял белые жидкостью, тем более в последнее время, когда старался побыстрее проглотить всё, что сумел раздобыть, всухую, не смешивая с водой. И как же ничтожен оказывался результат!

— Нет-нет, — укорил он себя: не время предаваться раскаянию, не время начинать с чистого листа. — Я должен дать им отпор. Они ошибаются.

— Вы ошибаетесь… — Он повернулся к санитару, но тот ушел.

В отделении кипела жизнь. Недавно проснувшимся пациентам снова давали транквилизаторы. Сидевший напротив человек поманил его рукой; тот самый человек, вспомнил Норман, который вчера вечером таращился на отца и который, вероятно, всю ночь таращился на его кровать, как таращится до сих пор. Норман подошел к нему. В одной руке человек сжимал пилюли, второй по-прежнему манил его к себе. Норман схватил его за руку.

— Какого цвета ваши? — требовательно спросил он. Человек разжал ладонь: унизительный розовый успел расплыться от пота. Человек потянулся к стакану воды, который санитар оставил на его тумбочке. Бросил таблетки в стакан и вылил в раковину. Поставил стакан обратно, вытер ладони.

— Но *какой-то* цвет у вас наверняка есть, — в отчаянии проговорил Норман.

— Белый — это цвет? — спросил человек.

— Бог благ, Бог благ[11], — прошептал Норман и прижался головой к ладоням человека. — Пожа-

---

[11] Примечания: 11

Ср. Пс 72:1: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!»

луйста, пожалуйста, — взмолился он.

Одной рукой человек приподнял голову Нормана, вторую сунул под одеяло. Потом вынул руку, опустил голову Нормана на место.

— Закройте глаза и откройте рот, — велел он.

Норман поднял голову, посмотрел на кулак человека и украдкой огляделся. Санитар с тележкой был в другом конце палаты.

— Покажите, — попросил Норман.

Человек раскрыл ладонь: там лежала белая таблетка.

— Это вам, — великодушно сказал он.

Норман уставился на таблетку, потом на человека, потом снова на таблетку в его руке. Больше всего его поразил не ее утешительный цвет, а ужасное одиночество. Уж много лет Норману не доводилось видеть одну-единственную таблетку. Ежедневная его доза составляла горсть, где таблеток было без счета, с каждым днем всё больше и больше. Одинокое белое пятнышко в своем бесстыдстве казалось чудовищно унизительным. Как можно до такой степени умалять его нужду? Уж что-что, а гордость у него еще оставалась. Он перевел взгляд на человека и рассмеялся.

— Кем вы себя возомнили? — спросил он. — Врачом?

— Я министр здравоохранения, — отвечал человек. — Эту можете взять даром.

Значит, была надежда.

— Можно ли достать еще, за деньги? — уточнил Норман.

— Думаю, вы знаете, что это запрещено законом, — сказал Министр. — Их законом. Этих полоумных, там, снаружи. — Он преклонил колени на кровати. — Позвольте процитировать, — продолжил он сановито, — позвольте процитировать моего коллегу, занимающего такую же должность в теневом кабинете. В том кабинете, что снаружи, — добавил он, чувствуя потребность пояснить свои слова. — Амфетамины, — выговорил он с проворством уличного наркоторговца, — амфетамины так же опасны, как и тяжелые вещества, а тяжелые вещества запрещены законом. — Он ссутулился. — Иными словами, приятель, мы с вами, коль скоро принимаем белые, то бишь амфетамины, мы с вами нарушаем закон. Тот, что снаружи, — добавил он. — Но в этом месте, где мне выпала честь занимать свой пост всё время, что существует правительство, незаконно только одно, не считая моей мерзкой матушки: не иметь денег.

— Сколько? — спросил Норман.

— Фунт в день. И берите сколько хотите.

Норман не верил своей удаче. Дома он платил в два с лишним раза больше, причем за ограниченное количество. Он улыбнулся, вспомнив, что сказал ему отец на прощанье. «Это для твоего блага». Как же он был прав! Норман обвел взглядом палату и подумал, не остаться ли тут навсегда. Почему бы и нет? Здесь тоже есть жизнь, другие люди, другие палаты, сады, женщины, никаких родственников и, самое главное, амфетамин в избытке. Он отправил таблетку в рот — символический жест, призванный успокоить раздраженный желудок, мол, дальше будет больше. Потом вспомнил, что прибыл сюда без денег, в одной пижаме. И его снова охватила паника. Он повернулся к человеку на кровати.

— Как вас зовут? — спросил он, решив, что, раз уж между ними установятся определенные отношения, необходимо представиться друг другу. — Меня Норман, — сказал он.

— Я же вам говорил. Я министр здравоохранения.

Норман протянул руку, удивляясь почтению, которое инстинктивно почувствовал к этому человеку.

— Тогда можно я буду называть вас Мини-

стром? — спросил он.

— Как пожелаете.

— Тогда, — Норман замялся, — не могли бы вы, Министр, отпустить мне в кредит хоть сколько-то белых. Я приехал сюда в одной пижаме.

— Для такого случая у нас имеется запас, — ответил Министр, — поскольку большинство приезжает, можно сказать, в ночных нарядах. Наличными при получении или кредит под десять процентов.

Норман понятия не имел, откуда возьмет деньги, но это уже другой вопрос.

— Да, — ответил он, — я согласен на ваши условия. Завтра я отдам вам деньги. — Он протянул руку.

— Не сейчас, — возразил Министр. — Они у меня в столе в кабинете. Я принесу их попозже.

— Хорошо, — согласился Норман, снова с готовностью принимая фантазию этого человека. — А когда? Ведь скоро?

— После завтрака, — пояснил Министр, — мы с вами угостимся белыми.

Норман вернулся в кровать. Обернулся к Министру и увидел, что тот таращится на него. Норман крикнул через всю палату, словно вдруг вспомнил:

— Давно вы здесь?

Министр по-прежнему таращился на него.

— Давно? — повторил Норман.

— В общей сложности шесть лет, — ответил за Министра другой пациент. — Он попадает сюда вот уже шесть лет.

Норман содрогнулся. Он будто посмотрел на себя холодным и отсутствующим взглядом Министра. Вспомнил, как подумывал, не остаться ли здесь навсегда, и решительно отмел эту мысль. Не хватало еще таращиться, как Министр, сколь бы неистощимы ни были его запасы белых.

— Шесть лет, — пробормотал он себе под нос.

Нужно выбираться отсюда, и побыстрее. Норман встал, прошелся по палате. У двери лениво дежурил медбрат. Норман направился к нему.

— Я хочу уехать домой, — сказал он. — Отдайте мне мои вещи.

Медбрат выпрямился и взял его за руку.

— Вы приняли таблетки? — спросил он, подталкивая Нормана к кровати.

— Я принял таблетки, — ответил тот. — Розовые. Похоже, у нас тут у всех розовые.

В голосе его мелькнуло что-то новое, что его удивило. Внезапно и совершенно спонтанно он вдруг заговорил надменным тоном. Словно хотел

поставить на место медбрата, который вежливо, однако ж довольно властно вел его к постели. Норман выдернул руку.

— Я и сам пойду, — произнес он с величайшим достоинством. — Я абсолютно здоров, — добавил он. — Я лягу в постель и буду ждать, пока мне принесут чай.

Медбрат выпустил его руку и вернулся на караульный пост у двери палаты. Норман лег на кровать. Министр по-прежнему таращился на него, Норман сдался и слабо улыбнулся ему в ответ. Тот и глазом не моргнул. Норман откинулся на подушку, и его снова пронзила боль. Пока завтрак не кончится, он будет строить планы, планировать побег, а до побега — планировать, как раздобыть денег.

6

— Позвони им ты, Белла, — сказал рабби Цвек.

— Нет смысла звонить так скоро. Он там всего ничего, вряд ли что-то изменилось.

— Сделай мне одолжение, Белла. Иди к телефону.

С половины седьмого они сидели за завтраком. Ночью ни один из них не сомкнул глаз. Каждый у себя в комнате ждал первого проблеска зари, а увидев, выскользнул из постели — тихонько, чтобы другой не знал о его тоске. Они столкнулись лицом к лицу на лестничной площадке. Ни один не произнес вслух, дескать, еще очень рано, и оба чувствовали себя так, словно их поймали с поличным на страдании.

— Иди ты первая. — Рабби Цвек кивком указал на туалет.

— Иди ты, — ответила Белла. — Я подожду.

Они переглянулись, решительно избегая того, упоминать о чем было немыслимо. Наконец рабби Цвек робко спросил, не в силах больше терпеть:

— Еще слишком рано звонить?

— Давай после завтрака, — сказала Белла. — И всё равно тебе лучше бы лечь в постель. Я же вижу, ты всю ночь не спал.

— Спать. Кто бы заснул? — бормотал рабби Цвек, направляясь в ванную.

Там его настигла тошнота. Он прислонился к полотенцесушителю. Почувствовал в груди шевеление, которое, то и дело замирая, дошло до желудка. Боли не было. Он даже ощутил облегчение: ему вдруг стало любопытно, чем же шевеление успокоится. Оно, как ни в чем не бывало, растворилось в паху. Он слышал, как Белла на кухне гремит чашками и чайником. В окошко ванной проник косой луч солнца, рабби Цвек пустил воду и почувствовал пальцами ее тепло. Он услышал, как мурлычет в бороду какой-то мотивчик, не задумываясь, о чем поет. Страдания Нормана потрясли всё его существо, но в душе у него был покой. Он воспользовался этим, чтобы помолиться, зная, что вскоре от покоя не останется и следа. Потом умылся, но свежесть не принесла ему радости, и солнце светило так же, как в любое другое утро. Он вернулся на кухню.

— Который час? — спросил он.

— Без четверти семь.

— В больницах всегда кто-нибудь дежурит у

телефона. Пожалуйста, Белла, позвони.

— Но ведь Норман, скорее всего, еще спит. И доктор его не смотрел.

— Да, — согласился рабби Цвек, — ты права. Пусть поспит немного. Сон ему нужен. Много сна.

Он принялся шумно хлебать чай. Ему хотелось говорить с Беллой, и чтобы Белла говорила с ним. Ему хотелось, чтобы она дала ему хоть какую-нибудь надежду, хотя он знал, что не сможет ее принять. Белле тоже хотелось поговорить, но она боялась. Оба надеялись, что, если не говорить о проблеме, она исчезнет сама собой. Они же постоянными упоминаниями подпитывали ее. Белле частенько казалось, что они сами тому причиной, что они-то и породили проблему. Возлагали на Нормана слишком большие надежды. Считали его вундеркиндом, до первых усов водили в коротких штанишках, а ее в белых носочках, чтобы упрочить иллюзию. Ей не хотелось об этом думать. Ее мучило чувство вины, что она, сама того не желая, оказалась причастна к безумию брата, — впрочем, не только она, а и всё семейство. Норман и его жизнь превратились для них в проект, словно всё это происходило с ними, а к Норману не имело ни малейшего отношения. И

хоть в лечебницу угодил Норман, горе на самом деле у них двоих, тех, кто сидит за столом: это их проект пошел прахом. Они сделали Нормана козлом отпущения, каждый на свой манер — отец, мать, сестра и она сама, и вот настал час расплаты. Норман в психушке, защищая свои права — право не быть избранным. На миг она увидела Нормана одного, без родителей и сестер, и увидела его в здравом рассудке.

Она обернулась подлить отцу чая. Делать хоть что-нибудь, лишь бы убить время, которое вскоре, в течение предстоящего ужасного дня, станет неубиваемым.

— Который час? — снова спросил рабби Цвек.

— Без десяти семь.

— Всё еще слишком рано, — сказал он.

— Возвращайся в постель, папа, — попыталась убедить его Белла.

— И что мне делать в постели?

Он встал и пошел к телефону. Положил руку на трубку. Он не станет ее поднимать, позвонит позже, в такую рань неприлично. Он снова и снова спрашивал, который час, и в конце концов Белла протянула ему свои часы. Он не взял. Тогда бы им вообще не о чем было говорить.

— Пусть будут у тебя, — предложил он. — Ска-

жешь мне, когда будет восемь часов.

И всё равно каждые пять минут спрашивал, сколько времени; его вопроса и ее ответа было достаточно, чтобы поддерживать разговор о Нормане. Белла уговорила отца вернуться на кухню. Попросила его съесть хоть что-нибудь, но у него не было аппетита. Они сидели друг напротив друга, глядя в чашки с чаем. Слышали, как пришел молочник, оставил внизу бутылки.

— Значит, уже не рано? — спросил рабби Цвек.

— Восемь часов, — ответила Белла.

— Не так уж рано. — С этими словами он встал. Замер у телефона. От страха не смог заставить себя снять трубку. Обернулся к Белле. — Позвони ты, — попросил он.

Она и сама понимала, что в конце концов звонить придется ей. Она не могла допустить, чтобы звонил отец. Она видела, как ему страшно. И всё равно возмущалась своим безнадежным бременем. Неужели нельзя извлечь из отсутствия Нормана хоть какую-то пользу? Почему бы на час-другой не дать себе отдых от всей этой мрачной истории?

— А ты почему не звонишь? — невольно спросила она и ужаснулась собственной жестокости.

— По телефону у меня получается не так хоро-

шо, — сказал он. — Позвони ты, Белла, — взмолился рабби.

Она набрала номер. Хорошо бы отец ушел от телефона, подумала Белла; да и рабби Цвеку только того и хотелось. Он страшился узнать то, что знать боялся, однако ж он отец Беллы и не имеет права обнаружить свой страх.

— Иди допей чай, — предложила Белла, чтобы облегчить ему задачу.

— Да, ты права, — с благодарностью откликнулся отец, — нехорошо, если остынет.

Он вернулся на кухню и прикрыл дверь. Услышал гудки в трубке, вытянул ногу и легонько толкнул дверь. Из-за закрытой двери доносился голос Беллы, но не слова. Помявшись, он встал и приоткрыл дверь. Услышал в щелочку, как Белла сказала: «Хорошо», потом еще раз: «Хорошо». Сердце трепыхнулось от надежды. Он шире распахнул дверь и крикнул в коридор:

— Мне навестить его сегодня?

И тут же затворил дверь, страшась ответа. Он услышал голос Беллы, перемежающийся паузами, затем завершающий щелчок телефона. Открыл ей дверь.

— Ну что? — спросил он.

Она улыбалась.

— Всё в порядке, — ответила она. — Им там очень довольны. Он спал хорошо и прекрасно осваивается. — Она говорила быстро, словно боялась забыть дословный отчет.

— Что они сказали? — Рабби Цвеку хотелось повторения.

— У него всё в порядке, — перефразировала Белла. — Осваивается.

Она чувствовала облегчение оттого, что сейчас за Нормана отвечает кто-то другой. Но рабби Цвека весть о том, что Норман осваивается, не обрадовала. В отличие от Беллы, он-то видел это место: нечего к нему привыкать, и осваиваться там тоже незачем.

— Больше ничего не сказали? — спросил он.

— У него всё хорошо, — повторила Белла, — спал крепко, осваивается.

Внезапно в этом бюллетене ей послышалась фальшь, и она представила, как дежурный медбрат читает его по бумажке. Всё хорошо, спал крепко, осваивается. Формальный стереотипный ответ на любые звонки. Или, как вариант, всё плохо. Ночь не спал. Не хочет осваиваться. А если пациент умер, подумала Белла, — для *таких* звонков у них тоже имеется шпаргалка? Впрочем, чего она ожидала? Что он навсегда отказался от

таблеток и раскаивается в причиненном им беспокойстве, раскаивается глубоко, раскаивается коленопреклоненно, готов загладить свою вину и начать новую жизнь?

— Ты спросила, можно ли мне приехать его навестить? — робко проговорил рабби Цвек.

— Они сказали, лучше несколько дней его не беспокоить. — Она не спрашивала. Не хотела, чтобы отец ехал туда. Пусть Норману хоть недолго придется рассчитывать на себя, пусть с ним возятся другие. Пусть в кои-то веки он тоже страдает. В конце концов, она имеет полное право на такие мысли. Достаточно взглянуть на отца, чтобы они сами закрались в голову.

При известии о том, что ехать сейчас нельзя, у рабби Цвека отлегло от сердца. Он смутно догадывался, что Белла не спрашивала, и был благодарен ей за это, и с радостью допустил, чтобы между ними простерлось сомнение.

— Значит, у него всё в порядке, — сказал он. — И хорошо, что в порядке. Он поправится. Бросит таблетки. Доктор Леви был прав. Это лучшее, что мы могли сделать. — Он был почти счастлив, что всё сложилось именно так, что всё под контролем. Малейшее утешение, кто бы его ни подал, рождало в нем огромный оптимизм. — Я

бы плотно позавтракал, — добавил он, и Белла охотно приготовила ему завтрак.

— Я сегодня сам пойду в лавку, — сказал он Белле. — Дам тебе отдых.

Ему не хотелось возвращаться к поискам. Почему бы не прервать их на день? А если Нормана вылечат, то и искать не придется. К чему лезть на рожон. Нет уж. Сегодня он не станет этим заниматься. Побудет в лавке.

Лавка была убежищем и для Беллы, и она боялась остаться одна в квартире. Но не смогла отказаться от предложения отца. Однако же неприсутствие Нормана ее пугало. Без него она отчего-то чувствовала себя скованной по рукам и ногам, словно ее вдруг лишили всякой причины делать что-либо. Отец уже подошел к двери. Она понимала его спешку.

— Шарф захвати, — сказала она, — внизу бывает прохладно.

— Не беда. — Он открыл дверь. — Если замерзну, включу обогреватель.

Ей хотелось его задержать. Она всегда воспринимала как должное, что отец от нее зависит, теперь же, когда он собрался уйти, да еще так решительно, она вдруг поняла, что не сможет без него обходиться, по крайней мере без его нужд,

которые, вкупе с Нормановыми, составляли для нее единственный смысл существования. Оставшись одна в квартире, она отворачивалась от входной двери, и от двери в комнату Нормана, и от кухни, и вообще от каждой двери, пока не описала полный круг. Белла бросилась к выходу и увидела, как отец скрывается за углом лестницы.

— Если будет много народу, зови, — крикнула она ему вслед.

— Сам справлюсь, — крикнул в ответ отец. В голосе его слышалась радость.

7

Он поднял ставни над дверью лавки и увидел, что снаружи ждет миссис Гольден. Обычно в такую рань покупатели не заглядывали. Но потом он вспомнил, что миссис Гольден накануне была в лавке и видела, как Нормана увозили. И вот явилась полюбопытствовать, что нового. Ему стало противно. Он не нуждался в ее завуалированном сочувствии. Однако ж она была ближайшей подругой Сары, упокой Господи ее душу, особенно в последние дни, и так ее любила, что готова была вперед нее отправиться на тот свет. Ради Сары он улыбнулся, открыл миссис Гольден дверь и поковылял за прилавок. Она вошла за ним. Очутившись по ту сторону разделявшей их крышки, он поднял глаза и наконец проговорил:

— Миссис Гольден, вы что-то хотели?

Она достала из сумочки листок бумаги и протянула рабби Цвеку. Это тоже было не в обычаях миссис Гольден. Она никогда не знала, чего хочет. Продавцу приходилось предлагать ей всякую всячину, чтобы встряхнуть ее память. Предложишь ей сахару, она вспомнит, что нужен чай

или сливочное масло для хлеба. О спичках она вечно забывала — видимо, потому, что с этим товаром у миссис Гольден не возникало никаких ассоциаций. Сегодня же всё, что ей нужно, было аккуратно выписано в столбик, в том числе и спички. Рабби Цвек шаркал по магазину, собирал покупки и одну за другой относил на прилавок. Миссис Гольден провожала его взглядом, но они не перемолвились ни словом. Наконец рабби Цвек собрал всё необходимое и присовокупил счет на клочке оберточной бумаги.

— Один фунт, три шиллинга и два пенса? — Он поднял глаза.

Она достала из сумочки две фунтовые банкноты и протянула ему. Он молча отдал ей сдачу. Одну за другой она сложила покупки в хозяйственную сумку, повернулась и пошла к двери.

Рабби Цвек разозлился. Она так многозначительно молчала — наверное, щадила его чувства, великодушно подумал он. И вдруг понял, что не хочет, чтобы его чувства щадили.

— Миссис Гольден, — окликнул он, — что же вы ничего не скажете?

Миссис Гольден вернулась к прилавку.

— Я думала, вам не хочется, чтобы я говорила.

— Вам есть что сказать? — раздраженно спро-

сил рабби Цвек. — Так скажите.

— Нечего, — пробормотала она и снова развернулась к двери.

— Ему уже лучше, — крикнул ей вслед рабби Цвек.

Миссис Гольден опять обернулась и села на стул для покупателей.

— Слава богу, — сказала она. — Конечно, ему станет лучше. Разве могло быть иначе?

Ей явно не хотелось заканчивать разговор, но и как его продолжить, она не знала и взглянула на рабби Цвека: что-то он ответит.

— Его скоро выпишут, — сказал он.

— Вот и хорошо.

К этому миссис Гольден добавить было нечего. Оба ухитрились обойти молчанием причину, последствия, симптомы и диагноз — предметы сплетен и домыслов. Говорить им больше было не о чем. Норману лучше. Скоро он будет дома. Что тут обсуждать? Однако же миссис Гольден не хотелось уходить, и она чувствовала, что и рабби Цвеку хочется ее задержать.

— Посидите со мной, миссис Гольден, — сказал он. — Я не очень занят.

Он всегда называл ее миссис Гольден. И Сара тоже, хотя они были знакомы с ней с тех пор,

как поженились. Как ни бился, рабби Цвек не сумел вспомнить, как же зовут миссис Гольден. Он помнил, как звали мистера Гольдена. Льюис. Они называли его Лу. Его не стало пять лет назад; наверное, рабби Цвек до самой смерти миссис Гольден так и не вспомнит, как ее зовут.

— А помните, — начал он, — давным-давно, когда мои дети были маленькие, и ваши тоже, мы часто выбирались на природу. Помните, как мы вместе ездили на пикники?

— Я помню пикники, — ответила она и, в свою очередь, спросила: — А помните, как мы все ходили в театр смотреть спектакль на идише? Помните?

— Помню, — сказал рабби Цвек. Его ход. — А помните школьные концерты? Помните?

И это миссис Гольден тоже помнила. Театр, пикники, концерты — по аналогии и вразнобой они перебрали все воспоминания и сидели, думая каждый о своем, и каждому было нужно, чтобы другой молчал.

— Что же его до этого довело? — вдруг спросила миссис Гольден.

Какое воспоминание ни возьми, все они крутились вокруг Нормана. Наверное, и у рабби Цвека тоже, поскольку вопрос его не удивил. Он и сам

частенько им задавался. Этот вопрос приходилось задавать себе по многу раз. Задавать снова и снова — а отвечать было не обязательно.

— Ему лучше, — выпалил рабби Цвек. — Сегодня утром я разговаривал с врачом. Белла разговаривала. У него всё в полном порядке, так сказал врач. Ему лучше, — повторил он, встревоженный неискренностью, что сквозила в его голосе.

— Конечно, ему лучше, — сказала миссис Гольден. — Но что же его до этого довело? Ведь такой был умный мальчик. Что же его довело?

Она не пыталась уязвить рабби Цвека. Ей хотелось, чтобы он смог об этом поговорить.

— Ему лучше, — повторил рабби и опустился на высокий табурет за прилавком — жест бессильной капитуляции. — Да, вы правы, такой был умный мальчик.

— А помните… — начала миссис Гольден, и рабби Цвек обрадовался очередному воспоминанию. Пока оно длилось, оно сводило на нет теперешнее положение. И лишь закончившись, воспоминание превращалось в нечто такое, что было когда-то и больше не повторится.

— А помните… — продолжала миссис Гольден. Кладезь ее казался неисчерпаемым. Она не остав-

ляла усилий отвлечь внимание рабби Цвека от Нормана в теперешнем его состоянии, направив его прямо и откровенно на того, прежнего Нормана. — Помните его первое дело в суде? Он был в мантии и парике, хорошенький, как девушка. Мы все пришли, помните, Сара, благослови ее Бог, была в новой шляпке, коричневой, с плюмажем, мой Лу, благослови Бог и его, Тейтельбаумы, Гринберги, Шварцы, вся улица, помните? И как он выиграл. Ой-вей, как он выиграл! — Она целилась в каждое слово, поражая их языком в самое яблочко. — Так красиво он говорил, — вспоминала она, — такую произнес речь. Такой был умный мальчик.

Рабби Цвек поймал себя на том, что улыбается, только когда улыбка погасла. Воспоминание о первом Нормановом триумфе лишь напомнило ему о печальном завершении его карьеры и скандальном унижении последнего выступления в суде. Рабби Цвек понимал, что миссис Гольден мысленно уже оплакивает это, и последовал ее примеру, поскольку это событие он вынужден был вспоминать снова и снова, чтобы хоть как-то примириться с произошедшим, даже посмеяться над ним — экий вышел курьез! — и чтобы чувство стыда наконец испарилось.

Дело было грязное, и по-хорошему его вообще не следовало бы доводить до государственного суда. Грязным его рабби Цвек считал потому, что в нем замешаны были евреи, а у евреев есть собственный суд, в двух шагах от его лавки, и надо было уладить всё там, без огласки, которую дело получило, когда вышло наружу. К тому же это была семейная ссора, постыдились бы выставлять ее на всеобщее обозрение. Но люди они были озлобленные, эти Штейнберги, и на памяти всех обитателей квартала вечно сварились между собой. Они провели в браке тридцать несчастливых лет, из которых последние десять вдобавок отравило присутствие старой миссис Касс, матери миссис Штейнберг. Пять лет из этих десяти упрямо бессмертная миссис Касс уже не вставала. Каждое утро многострадальный мистер Штейнберг относил ей чай и изо всех сил скрывал разочарование, увидев, что она ждет его. И не просто ждет, а бурчит, дескать, что так поздно, почему сахару недоложили или переложили, никто-то о ней не заботится, она понимает, с ней много возни, но что же ей делать.

— Сдохнуть, — еле слышно цедил мистер Штейнберг, выходя из комнаты. Возвращался на кухню, к жене, и вместе они слушали, как ста-

руха кричит из нижней спальни: «Смерти моей дожидаетесь?»

— Дожидаемся, — бормотали Штейнберги, каждый себе под нос, но случись мистеру Штейнбергу проговорить это вслух, как жена тут же набрасывалась на него с обвинениями — ты-де мелочный, бессердечный и вообще дрянь человек. Их ругань и крики старухи в любое время дня и ночи долетали до соседских задворок и со временем стали привычной частью здешних неурядиц.

В довершение всех бед у миссис Штейнберг имелся братец по имени Берти, законченный негодяй. Взрослая жизнь Берти перемежалась внезапными и длительными отсутствиями, сроками в узилище, поспешными отъездами за границу и периодами, когда ему случалось залечь на дно. Он был клептоманом и равно тащил у своих и чужих. Миссис Штейнберг ненавидела его за то, что ей приходилось из-за него врать и извиняться, за то, что ей приходилось притворяться перед друзьями, хотя они прекрасно видели все хитрости, к которым она прибегала, чтобы сохранить лицо, и жалели ее за это. И за эту их жалость она тоже ненавидела брата.

К ним в дом он заглядывал нечасто, и миссис Штейнберг, с одной стороны, была ему за

это благодарна, а с другой — злилась, что он совсем забросил мать. В редкие свои визиты он непременно затевал со старушкой ссору и уходил с очередной серебряной или любой другой вещицей, которую успевал зацапать прежде, чем сестра побеспокоилась ее убрать, а мистер Штейнберг после каждого его ухода проводил запоздалую инвентаризацию. Наблюдая за тем, как мало-помалу убывает коллекция серебра, миссис Штейнберг радовалась, что брат не навещает их чаще.

Но настал день, когда она впервые дожидалась его прихода. По крайней мере, имела полное право рассчитывать, что он явится, как любой сын, хороший или не очень, обязан явиться к смертному одру матери. Поскольку старая миссис Касс наконец-таки сделала это: после долгих лет угроз и проклятий вымолвила последнее слово. Миссис Штейнберг закрыла матери глаза и, охваченная необъяснимым чувством вины, сотрясаясь от рыданий, принялась прятать всё ценное.

Когда прибыл Берти, мистер Штейнберг сидел возле старухи, и когда Берти вошел в комнату, незаметно выскользнул за дверь, предполагая, что Берти захочет наедине попросить у покойной прощения. Мистер Штейнберг ушел на кухню к

жене, они сидели и смотрели друг на друга. Даже смерть старой миссис Касс не сумела смягчить их взаимного отвращения. Напротив, лишь усилила его, поскольку каждый винил другого в ее кончине.

— Не знаю, чего ты плачешь, — сказала миссис Штейнберг. — Ты же только этого и ждал, разве нет?

— Прикуси свой длинный язык, — огрызнулся мистер Штейнберг. — Плачь, плачь, — продолжал он, — тебе есть о чем поплакать.

Из прихожей донеслись медленные шаги, хлопнула входная дверь. Они впились друг в друга взглядом; скорее всего, в голове у обоих мелькнул один и тот же вопрос: что, кроме трупа, можно украсть из старухиной комнаты.

Они бросились в спальню, почтительно помедлив у двери, на случай если почтение еще было уместно. Потом тихонько вошли. Старуха, что неудивительно, лежала, как оставил ее мистер Штейнберг; оба с порога оглядели комнату, отыскивая причину поспешного ухода Берти. И она тут же обнаружилась — точнее сказать, не обнаружилась: оба сразу ее заметили. Широкую белую обесколеченность на безымянном пальце старухи.

— Когда я уходил, оно было на месте, — прошептал мистер Штейнберг, торопясь оградить себя от подозрений.

— Кто же еще, кто же еще? — воскликнула миссис Штейнберг, не обращая внимания на спутника. — Кто же еще, кто же еще, кроме Берти.

Они приблизились к телу, и мистер Штейнберг с опрометчивостью, простительной почти самому близкому родственнику, приподнял оголенный старухин палец. Кольца действительно не было, как не было его ни в складках одеяла, ни под подушкой, ни где-либо возле кровати. Оно исчезло; совокупность старухиного богатства, наследство, доставшееся ей от мужа, его скудные акции, ее пенсия, ее мебель, ее серебро — всё это заключалось в гигантском бриллианте с оправой из золотой амальгамы, так надменно торчавшем на ее безымянном пальце. «Погромные деньги», как она его называла, потому что его всегда можно было унести с собой и оно везде представляло ценность. И вот теперь оно исчезло; скорее всего, его переплавят в звонкие монеты, и те утекут у Берти сквозь пальцы.

Миссис Штейнберг обуял гнев. Она вернет кольцо или хотя бы его стоимость, «если уж ничего

другого не остается», выкрикнула она.

— Бедная мамочка, — шептала миссис Штейнберг, хотя той ее жалость уж точно не требовалась, однако же оправдывала дикую ненависть к брату.

И вот, когда старую даму достойно похоронили, причем Берти все похороны и всю *шиву* твердил, что невиновен, дело решили передать в суд, а вести его поручили Норману, сыну рабби Цвека, настоящему гению.

В зале суда было людно. Рабби Цвек сидел в глубине; его снедала тревога. Исход дела не особо его заботил. С таким досье, как у Берти, было заранее ясно, что его признают виновным, и дальнейшая его судьба рабби Цвека не волновала. Он страшился за Нормана и его выступление. Сидевшая рядом Белла разделяла его страх, потому что в ту пору, два года назад, о пристрастии Нормана знали только они. И отговаривали его браться за дело, перебрали массу причин, по которым ему не следует впутываться в эту грязную историю. Они понимали, что его карьера в юриспруденции кончена, однако он не желал с этим смириться. Вы меня травите, все вы, говорил он, вы унижаете мое достоинство, вы все сошли с ума.

А ведь не далее как утром, перед тем как уйти

в суд, он обрызгал всю квартиру инсектицидом и бросил свои подушки в ванну с водой, дабы утопить *их* мерзкое гнездилище. Он осунулся, пожелтел, и они снова попытались уговорить его отказаться от дела, послать весточку в суд, сказаться больным. «Вы хотите погубить мою карьеру, — кричал он. — Вы решили совсем меня уничтожить». Схватил мантию, портфель и бросился к двери. «Вы так мной гордились, — сказал он на прощанье. — Что же с вами стало?»

И отправился выставить себя на всеобщее обозрение, чтобы все узнали и зашептались: «Его огромный мозг слишком тяжел для него, его гений свел его с ума». Это еще было лучшее, на что рабби Цвек мог рассчитывать. Что люди подумают, будто Нормана погубили мозги. Не наркотики. Ничего подобного. Не наркотики. Даже сумасшествие, если вдуматься, до определенной степени считалось приемлемым. Сойти с ума от собственной гениальности — в этом что-то было, некий извращенный *нахес*[12]: это даже внушало уважение. Но от наркотиков — совершенно другое дело: это непростительно. Поэтому рабби Цвек с Беллой отправились за ним в суд.

---

[12] Примечания: 12
Благо, удовольствие (*идиш*).

Они сели на заднем ряду — не потому, что рассчитывали улизнуть пораньше, они собирались оставаться до конца, каким бы он ни был, — а потому, что сзади чувствовали себя не такими беззащитными. В зале собрались все их соседи, вся округа в полном составе. Большинство в глубине души надеялись, что Берти оправдают — вовсе не потому, что считали его невиновным, а потому, что хотели наказать миссис Штейнберг, которая вытащила это дело на всеобщее обозрение. Евреям нужно быть особенно осторожными: извлекать такую мерзкую ссору на свет божий — значит напрашиваться на неприятности. Но каким бы ни оказался исход, сегодня им покажут драму и местного доморощенного гения, Нормана Цвека, — говорят, он знает тринадцать языков, Норман, мальчик, который добился успеха и о котором они столько слышали с самого его детства. Словом, этого события вся округа ждала с нетерпением.

Рабби Цвек украдкой оглядел зал. Отметил, что женщины нарядились, хотя день был будний. «Устроили себе *йом тов*[13]», — сказал он себе. Да еще и какой *йом тов*. Он видел, что Норман занял

---

[13] Примечания: 13
Праздник (*ивр.*). Дословно — «хороший день».

свое место, и мысленно помолился за него. Предварительные процессуальные формальности рабби вниманием не удостоил — сидел уронив голову на грудь и мечтал, чтобы всё поскорей завершилось. Вдруг в зале повисло молчание, затем послышался шорох (кто-то куда-то пошел), а затем голос его сына холодно и несколько надменно изложил суть разногласий меж двумя сторонами. Пока он говорил, стояла тишина, лишь время от времени кто-то из зрителей причмокивал, предвкушая развлечение. Норман говорил уверенно и понятно — настолько, что к концу его речи рабби Цвек расслабился. Белла с облегчением стиснула его руку. «Всё хорошо, — прошептала она, — он держится молодцом». Рабби Цвек оглядел зал. И даже отважился показать, что гордится сыном. Улыбнулся одному-двум соседям в ответ на одобрительные кивки. Его вдруг охватила радость, он даже был благодарен, что соседи принарядились. Норман докажет им, что оно того стоило. Его Норман. Его умный сын Норман. Какая разница, что там болтает этот Леви. В конце концов, вдруг Норман и прав. А доктор Леви лишь пытался его напугать, когда сказал, что Норман совершает медленное самоубийство. Ну да, у него бессонница, но работать-то он может. Норман прав. Он

твердит, что таблетки ему помогают. Придают достоинства и красноречия. Рабби Цвек сам обо всём расскажет доктору Леви. Жаль, что того нет в зале и он не видит его сына. «Ох уж эти психиатры, — пробормотал он себе под нос, — *мешигине*, все до единого».

Рабби Цвек услышал, что вызвали миссис Штейнберг, и поднял глаза: она как раз всходила на кафедру. Миссис Штейнберг наряжаться не стала. На ней были будничная шляпка, пальто и потертая кожаная сумка, с которой она обычно ходила за покупками. Без советов Нормана тут явно не обошлось. Судья скорее поверит трудолюбивой женщине в простом платье, которая ищет не выгоды, но справедливости. Миссис Штейнберг принесла присягу и нервно ждала, когда Норман начнет опрос.

— Миссис Штейнберг, — проговорил он, — расскажите суду собственными словами, что случилось утром во вторник, тридцатого апреля.

Миссис Штейнберг приставила к губам сложенные рупором ладони.

— Вы прекрасно знаете, что всё началось раньше, — прошипела она, надеясь, что никто, кроме Нормана, ее не услышит.

Норман пропустил ее слова мимо ушей.

— Миссис Штейнберг, — повторил он, — расскажите нам, как всё было, и не торопитесь. Начните с того момента, когда умерла ваша мать.

— Но всё началось раньше, — снова прошипела она. — Позвольте, я всё расскажу. — Она уронила руки. — За что я вам плачу? — крикнула она. — Чтобы вы скрывали историю моего никчемного брата-*гонофа*! Он всю жизнь *гоноф*. Пусть все знают. — И она обвела рукой зал.

Публика сочувственно зашепталась, так что судье пришлось потребовать тишины.

— Свидетельница, соблаговолите ограничиваться ответами на вопросы вашего адвоката, — сказал он.

Миссис Штейнберг беспомощно обернулась к судье.

— Не те вопросы он задает, — взмолилась она.

— Продолжайте. — Судья властно кивнул Норману.

— Миссис Штейнберг, — повторил тот, — расскажите суду, что случилось в тот день, когда умерла ваша мать.

Миссис Штейнберг тяжело вздохнула. Не так-то просто начинать с середины. Но она сделала над собой усилие.

— Моя мать, *алеа а-шалом*, — тут она сно-

ва вздохнула, — очень тяжко болела. Мне ли не знать. — Она доверительно подалась вперед. — Десять лет я за ней ухаживала, вверх-вниз, вверх-вниз, туда-сюда, туда-сюда, — поправилась она, вспомнив, что комната матери находилась на нижнем этаже. — Всё, что хотела, она получала. Хочет радио — получает, хочет телевизор — получает, хочет грелку — получает. Всё она получает. Разве я могу ей отказать?

Миссис Штейнберг сделала паузу; публика готовилась слушать продолжение истории. Многие слышали всё это не раз, но на рынке или за столом у нее на кухне, однако же со сменой обстановки могли появиться новые живописные подробности.

— Ну и вот, — продолжала миссис Штейнберг, — моя бедная мать, ей было всё хуже…

— Извольте перейти к сути дела, — перебил судья.

— Перейду, перейду, — прикрикнула на него миссис Штейнберг. — Всему свое время. Так на чем я остановилась?

— На том, что ваша мать скончалась во вторник утром, тридцатого апреля, — подсказал Норман. — Что случилось после того, как ваша мать умерла?

— Вы хотите уже об этом? — разочарованно спросила она.

— Что случилось после того, как ваша мать умерла? — повторил Норман так мягко и убедительно, что миссис Штейнберг сдалась и выложила всю историю.

Как ни старался барристер Берти опровергнуть рассказ на последующем перекрестном допросе, у него ничего не вышло; затем на кафедру поднялся мистер Штейнберг и в мельчайших подробностях подтвердил показания жены. Впервые за много лет супруги хоть в чем-то пришли к согласию. Их история была неколебима. Для Нормана всё складывалось отлично, и рабби Цвек совершенно успокоился. Даже подался вперед, чтобы лучше видеть сына, сожалея, что им не хватило веры занять место в первом ряду.

Наконец настал черед Берти взойти на кафедру, а Норману провести перекрестный допрос. Рабби Цвек не сводил глаз с сына. Он чувствовал, что Норман щегольнет былым талантом, отличавшим его в свое время как самого блестящего и многообещающего барристера из молодых. Его сын, его умный сын, Норман.

— Отчего вы так быстро ушли? — допытывался Норман.

— От чувств. — Это словцо за время заседания Берти повторил многажды. Оно явно ему нравилось, хотя совершенно с ним не вязалось: было очевидно, что малый груб и несентиментален. — От чувств, — повторил он. — Мне хотелось оттуда поскорее уйти. Я не выдержал.

— От чувств, — эхом откликнулся Норман. — Возможно, от чувства вины?

— Возможно, — согласился Берти. Он чуял, что вопрос с подвохом, и не хотел себя компрометировать.

— В чем же вы чувствовали себя виноватым? — спросил Норман.

Берти таращился на него.

— Возможно, — подсказал Норман, — вы чувствовали себя виноватым в том, что в последнее время так редко общались с матерью?

— Я ее навещал, — пробормотал Берти, — время от времени я ее навещал.

— И как часто за последний год вы ее навещали? — допытывался Норман.

Берти забарабанил пальцами по кафедре. Припомнить каждый визит не составляло труда, потому что каждый так или иначе был продиктован необходимостью. Либо ему нужны были деньги, либо нужно было поискать ее завещание,

либо просто подцепить в сестрином доме какую-нибудь вещичку. Свои визиты он мерил добычей. Серебряный подсвечник, наручные часы, фотоаппарат, электронные часы. Надо будет сбыть с рук часы. Так и лежат под кроватью у него в комнате. Получается, минимум четыре визита. Можно смело добавить еще парочку, в которые он оказался в убытке.

— Раз шесть, — беззаботно ответил он.

— Получается, раз в два месяца, — резюмировал Норман. — Последний год ваша мать тяжело хворала. Фактически угасала. Не находите ли вы, что, учитывая все обстоятельства, визиты ваши были крайне редки?

Берти пожал плечами.

— Возможно, вы живете далеко от матери и долгий путь причинил бы вам существенное неудобство?

Миссис Штейнберг хмыкнула.

— В двух шагах он живет, — вставила она.

Судья попросил ее замолчать, но свое слово она сказала.

— Где именно вы живете? — спросил Норман. Ему хотелось услышать это из уст Берти.

— На Флад-стрит.

— Далеко ли оттуда до дома вашей сестры, где

умирала ваша мать?

— Пять минут? — вопросом на вопрос ответил Берти.

— Пять минут пешком или пять минут на общественном транспорте? — уточнил Норман, хотя прекрасно знал, где находится Флад-стрит.

— Пешком, — промямлил Берти.

— Расстояние небольшое. Получается, вам не составило бы труда проведать умирающую мать, — заключил Норман. — Быть может, — продолжал он, — вам мешала ее навестить занятость на работе?

Миссис Штейнберг снова хмыкнула.

— Занятость, — передразнила она, — у этого жалкого никчемного *лобеса*[14]. Кто его на работу возьмет? Ха!

Судья нетерпеливо стукнул костяшками пальцев по столу.

— Должен предупредить вашу клиентку, — сказал он Норману, — что, если она еще раз позволит себе вмешаться, я перенесу слушание.

— Тише. — Мистер Штейнберг пихнул жену локтем.

Норман с признательностью взглянул на кли-

---

[14] Примечания: 14

Прохвост (*идиш*). От *польск.* łobuz, łobuziak — сорванец, негодяй, прохвост.

ента и продолжил допрос:

— Где вы работаете, мистер Касс?

— Я сейчас не работаю, — ответил Берти.

— И как давно вы не работаете?

— В общей сложности года три.

— Значит, — выпалил Норман, — на момент болезни вашей матери ни расстояние, ни занятость не мешали вам ее навещать.

Берти молчал, и Норман сделал паузу.

— Можете ли вы назвать себя хорошим сыном, мистер Касс? — Норман оглянулся на миссис Штейнберг, увидел, как муж зажал ей рот ладонью, и благодарно улыбнулся мистеру Штейнбергу за то, что тот дал ему возможность высказаться.

— Я ее любил, — только и ответил Берти.

— Но, видимо, недостаточно, чтобы проводить с ней время, — заметил Норман.

Берти снова умолк, его адвокат заерзал. Рабби Цвек расслабился. Норман явно владел ситуацией.

— Расскажите собственными словами, — продолжал Норман, — что случилось в последний ваш визит к матери. Когда она уже скончалась.

— Ну, — начал Берти, — сестра прислала мне весточку, что ее не стало. Я побежал туда, в ее

комнату. Она лежала на кровати. Она… она умерла. Я подошел, сел возле кровати, посмотрел на нее. — Он примолк. — И распереживался, — поспешно добавил он.

— Где были ее руки? — спросил Норман.

— Лежали поверх одеяла, вдоль тела.

— То есть с вашего места возле кровати вы прекрасно видели ее руки.

— Именно так.

— Опишите их.

— Ну, синеватые, с торчащими жилами, очень старые и… ну… руки и руки. А, и еще ногти с красным лаком. Он чуть-чуть облез. Мне даже стало как-то не по себе.

— А пальцы? — спросил Норман.

— Ну… они… обычные пальцы.

— На них что-нибудь было? — как бы невзначай поинтересовался Норман.

— Нет, — отрезал Берти. — Вообще ничего.

— Вообще ничего? — прошептал Норман.

И от его голоса, такого неожиданно тихого, такого испуганного, у рабби Цвека вдруг свело живот. Он с болью смотрел на лицо сына. Его выражение было ему отлично знакомо: оно проступало, как пот, сочилось изо всех пор. Лицо Нормана становилось таким, когда ему мерещи-

лись серебристые рыбки.

— Вообще ничего? — грозно повторил Норман, подался вперед, в отчаянии вскинул руки. — Там было кольцо! — прогремел он.

— Не было, — возразил Берти, попятился и обвел взглядом зал, ища подтверждения своим опасениям.

Норман подскочил к нему, приблизил лицо к самому лицу Берти.

— Его там не было? — крикнул он.

Публика подалась вперед, судья тоже: он недоуменно уставился на Нормана, гадая, вызвана ли его вспышка помешательством, или же он просто притворяется. Публика зароптала, и Белла, страшась исхода, сжала руку отца. Взглянуть на него она не отважилась, однако знала, что глаза его заволокли слезы страха и предчувствия беды.

Берти вжался спиной в трибуну. Вопросительно взглянул на судью, но тот молчал. До Берти доходила молва о Нормановых чудачествах. Соседи шептались о Нормане — и не только из-за его гения: сдавленный их шепоток указывал на что-то не вполне понятное. Впрочем, гений ли, безумие — и то и другое равно возбуждало любопытство.

— Нет, — ответил он с вызовом, — я уже сказал, там ничего не было.

Норман недоверчиво покачал головой. Уронил руки, попятился на место. Рабби Цвек проводил его грустным взглядом. Он знал этот беспомощный жест, этот вечный ответ на слова: «Их там нет. Тебе кажется». Возражение Берти глубоко оскорбило Нормана. Последние два года часы его бодрствования перемежались такими же снисходительными заявлениями: «Их там нет, их там нет».

— Разумеется, оно там было, — пробормотал рабби Цвек. — И тебе это известно, Берти Касс, тебе это отлично известно. Скажи ему, скажи ему, — взмолился он, — скажи моему сыну, что оно там было.

Норман скрестил руки на груди и вроде бы расслабился. Даже слегка улыбнулся, к облегчению судьи и публики. Вспышка его, очевидно, была продиктована расчетом: он хотел припугнуть Берти, чтобы тот во всём сознался. И теперь, раз его замысел провалился, попробует что-то другое. Но Белла и рабби Цвек не чувствовали облегчения. Улыбка Нормана была им до ужаса знакома. Они знали, что за ней последует спор, и Норман будет упрямо стоять на своем: все вокруг сумасшедшие, один он нормальный. Они взялись за руки.

— Что ж, мистер Касс, — вежливо проговорил Норман, — вы утверждаете, что кольца не было. Допустим. А скажите мне, мистер Касс, сколько времени прошло со смерти вашей матери, когда вы явились ее навестить?

Берти не понял, какое это имеет значение, но и угрозы в вопросе не углядел.

— Не знаю, — мирно ответил он, благодарный Норману за дружеский тон. — Я пришел, как только меня позвали. Наверное, около часа.

— Допустим, — повторил Норман. — Вы прекрасно знаете, мистер Касс, что практически сразу же после смерти тело начинает разлагаться. С этим вы согласны?

— Не знаю, — ответил Берти. Вежливый тон Нормана уже внушал ему опасение. — Я о таких вещах ничего не знаю.

— Что ж, это так, мистер Касс. Этот факт вам подтвердит любой патологоанатом.

Зрители внимательно слушали: им не терпелось узнать, куда клонит Норман. Они чуяли ловушку и дивились тому, как изящно он ее расставил.

— Вы видели на матери червей? — Норман обворожительно улыбнулся. Руки его по-прежнему были сложены на груди.

— Нет, конечно, — ответил Берти, задетый его бесцеремонностью.

— К тому моменту, когда вы увидели свою покойную мать, черви уже вполне могли появиться, — продолжал Норман. — Однако же вы их не видели.

— Нет, — повторил Берти.

— Понимаю, вы их не видели, — великодушно согласился Норман. — От чувств. У вас же горе. Но поверьте на слово, мистер Касс, черви там были, и вполне естественно, что вы в вашем шоковом состоянии их не видели.

Берти недоверчиво кивнул.

— Значит, вы согласитесь, — продолжал Норман, — что некоторые вещи могут наличествовать, даже если вы их не видите, тем более если вы в состоянии шока.

Берти помалкивал.

— Таким образом, — не сдавался Норман, — на пальце вашей покойной матери вполне могло быть кольцо, а вы, в вашем состоянии глубокого отчаяния, его не видели.

— Если я его не видел, — не раздумывая, ответил Берти, — значит, и взять не мог? — И он ликующе вздохнул.

— Именно так, — подтвердил Норман. — Если

вы его не видели, то с большой степенью вероятности не могли и взять, независимо от того, было ли оно там или не было.

— Я не вполне понимаю, куда клонится этот допрос, — вставил судья.

— Я рассчитываю в ближайшее время всё объяснить.

Ничто в поведении Нормана не настораживало и не возмущало. Он держался всё так же расслабленно, улыбался, и даже рабби Цвеку на миг померещилось, что он заблуждается. Однако же, судя по вопросам Нормана, он перешел на сторону обвиняемого.

— Значит, вы его не видели, мистер Касс, — говорил Норман, — однако мы знаем, что кольцо наличествовало и его забрали. Следовательно, мы вынуждены заключить, не правда ли, что его взял тот, кто способен был его увидеть.

Берти ошалело кивнул.

— Из показаний миссис Штейнберг и, если уж на то пошло, мистера Штейнберга мы знаем, что кольцо было на пальце вашей покойной матери и они оба его совершенно точно видели. У нас нет доказательств, что кольцо видел кто-то еще. И мы знаем, что кольцо мог взять лишь тот, кто его видел.

В зале поднялся ропот. Миссис Штейнберг открыла рот, но не издала ни звука. Она в ужасе толкнула мужа локтем, и тот толкнул ее в ответ, уже сожалея о прежнем согласии.

Норман расплел руки, сошел со своего места. Приблизился к судье.

— Ваша честь, — сказал он, — я ни в коей мере не обвиняю моих клиентов в краже, как вы могли заключить из хода моих доказательств. Но я не желаю иметь ничего общего с теми, кто отказывается замечать очевидное.

Судья подался вперед. Он понятия не имел, о чем говорит Норман. С делом тот явно был знаком и подготовился как следует: в противном случае судья перенес бы заседание и посоветовал истцам подыскать другого адвоката. В доводах Нормана звучала такая простая и неопровержимая логика, а держался он так уверенно и спокойно, что судья недоумевал, на каком основании можно было бы требовать перенести слушание.

— Слишком многие в этом мире, — говорил тем временем Норман, — отказываются замечать очевидное, говорят: «Нет, я их не вижу, тебе всё кажется». Все мы знаем, — упрямо продолжал он, обернувшись к присяжным, — что некоторые вещи существуют, однако же многие люди отка-

зываются признавать их существование по своим собственным мотивам, чтобы свести других людей с ума. Ваша честь, — он снова повернулся к судье, — я не хочу иметь ничего общего с такими людьми. Я утверждаю, что Берти Касс не вор. Он душевнобольной, и место его в лечебнице. — С этими словами он одернул мантию на плече и вернулся на свое место.

Судья кашлянул, чтобы скрыть замешательство.

— Предлагаю перенести заседание, — сказал он и вытер проступивший на лбу пот. Сделал знак секретарю, что ждет Нормана у себя в кабинете, и вышел из зала.

Норман ждал, пока зал опустеет. Остались только Белла и отец. Норман ссутулился за столом. В черной мантии, ниспадавшей на пол, он походил на подбитого дрозда. Рабби Цвек подошел к нему.

— Норман, пойдем домой, — сказал он, — ты переутомился. Отдохнуть тебе надо.

По какой-то причине Норман не стал сопротивляться. Взял отца за руку, как маленький. Белла шла следом. В дверях Норман обернулся и печально оглядел зал, словно даже он вынужден был признать, что никогда уже сюда не войдет.

Рабби Цвек вытер пот с лица и бороды. Заметил, что миссис Гольден плачет. Она тоже добралась до конца воспоминания — давно ли, рабби Цвек понятия не имел. Он погрузился в печальное прошлое и совсем позабыл, что не один. Он смотрел, как она вытирает глаза обшлагом пальто.

— Но теперь всё позади, — произнес он, стараясь придать голосу чуточку веселья. — Ему гораздо лучше. Мне сказали, он поправляется.

Миссис Гольден всхлипнула.

— А ведь он должен был приносить вам одну лишь радость, — сказала она.

— Радость, — повторил рабби Цвек. — Обойдусь я без радости. Лишь бы он поправился.

И лишь когда миссис Гольден вышла из лавки, рабби Цвек осознал, от чего он фактически отказался. Разве не каждый отец имеет право ожидать *нахес* от детей?

— Право, право, — пробормотал себе под нос рабби Цвек. — Кому оно нужно, это право. Пока что пусть поправляется. Ничего больше. Лишь бы он поправился. Он имеет на это полное право, мой сын Норман имеет на это право.

Он стоял за прилавком, прижав кулаки к лацканам пиджака, и раскачивался туда-сюда, точно молился.

— Я отказываюсь от прав, — сказал он, — я отказываюсь от них.

Выбивая на кассе покупки миссис Гольден, замер с пальцем на клавише.

— Слишком поздно уже, — пробормотал он.

8

Белла обнаружила себя в комнате Нормана. Она пришла сюда по привычке, как приходила каждое утро уговаривать его: вставай, соберись, хватит дурить, неужели тебе нравится нас мучить, посмотри, что ты делаешь с отцом, в конце концов ты его доконаешь. В последние пять лет она говорила это вместо утренней молитвы в каждый из приступов Нормановой болезни.

Она по нему скучала. Смешно, но она по нему скучала. Что уж скрывать: она нуждалась в нем. Теперь некого было наказывать, некого унижать, не на ком срывать досаду на собственную нелепость. На миг ей захотелось, чтобы он вернулся, чтобы лежал на кровати, желтый от бессонной ночи, чтобы пол был сбрызнут инсектицидом, а зеркало занавешено, дабы скрыть отголоски его жутких фантазий. Да, она хотела, чтобы он вернулся. Он был ей необходим, больной Норман, неудачник Норман, козел отпущения за все ее несчастья. Она безразлично взяла с кровати бумаги, оставленные накануне отцом, и сунула в комод. Ей не хотелось искать источник Нормано-

вых запасов. В этом не было смысла. Наркоману ничего не стоит поменять поставщика, и тем проворнее, чем сильнее его прижало. Она задвинула приоткрытые ящики и оглядела комнату. Теперь здесь порядок: Белла поменяла белье, открыла окна, чтобы проветрить. Ей хватило получаса, чтобы стереть все следы пребывания Нормана, и она уже жалела, что не оставила всё как было, со всеми очевидными признаками его безумия. Она села на кровать и с улыбкой отметила, что ее ноги не касаются пола. Белла вспомнила, как незадолго до смерти матери сидела у нее на кровати и, даже не вытянув ног, обводила носком линялые розы на ковре. Но после смерти матери кровать стала выше, намного выше из-за двух стеганых одеял — одно мамино, одно сестры Эстер. Белла не раз замечала, что и у соседей кровати вдруг подрастали, с каждой смертью, с каждым отъездом становились всё выше, и если с еврейской кровати вы не достаете ногами до пола, то ваш рост — или его нехватка — тут ни при чем.

Она посмотрела на свои ноги, свисающие с кровати. Из-под кромки белого носка выпирала варикозная вена. Такие носки уместны разве что на детской площадке или на теннисном корте, но никак не на двуспальной кровати в комнате

полоумного брата. Она вспомнила, как впервые надела их еще девочкой, без малого сорок лет назад, как ей нравилось отворачивать ослепительно-белый краешек, любовно расправлять складочку. Как сперва отворачивала один, а потом сводила ноги, чтобы точно выровнять складочку на втором. Теперь эта процедура не вызывала у нее былого восторга, и на носочную симметрию Белле было давным-давно наплевать. Но и перестать их носить она не могла. Каждый день брала чистую пару из лежащих в комоде дюжин, и каждый день рука не поднималась их вы кинуть. Она вспомнила, как впервые взбунтовалась против белых носков, как в первый и последний раз восстала против материного стремления во что бы то ни стало продлить ее детство. В тот день Норману исполнилось шестнадцать, ему предстояла бар мицва. Запоздалая, вопреки закону Моисея — отложенная на три года, и в подоплеке этого опоздания, вероятнее всего, крылись причины теперешних Норманових мучений. Но разве узнаешь наверняка, думала Белла, с чего всё началось? У безумия ведь нет точного начала или конца. Норман в психушке, она сидит на его кровати. Для нее это его заточение, пожалуй, что и конец. Для Нормана,

скорее всего, начало. Вот вам безумие. Кто знает, когда оно началось, размышляла она. Быть может, еще в его детстве, или в детстве ее отца, или даже в ее собственном. Она посмотрела на свои носки и поспешно спрятала ноги под кровать. Безумие начинается или заканчивается, решила она (тут уж как посмотреть), в зависимости от сути твоих собственных проблем. И она вспомнила всю историю, потому что нуждалась в этом, потому что ей нужно было признать собственную роль в распаде личности брата.

Норману было пять, ей на год меньше. Он познакомился с мальчишкой-поляком, который недавно переехал в их район; месяца через три крепкой уличной дружбы Норман привел его в дом, и оказалось, что оба бегло говорят по-польски. Миссис Цвек давно подозревала, что ее первенец особенный, а теперь решила всерьез взяться за его образование. Нашла репетитора по французскому. «Культурный язык, французский, — говаривала она. — Хорошие люди французы», — не то что поляки, полагала она, чья житейская философия, то бишь отношение к евреям, сущее варварство, и язык у них наверняка такой же. И Нормана отправили учить французский, благородный язык, которым он без

труда овладел к шести годам. К семи свободно изъяснялся по-польски, по-французски и по-английски, вдобавок к ивриту с идишем, которые между делом перенял от родителей.

Норману шел девятый год, когда миссис Цвек, провидчески запрещавшая учить немецкий, в конце концов уступила, поскольку «любое знание — сила, даже знание немецкого языка», и Норман с презрением, унаследованным, очевидно, от матери, отказываясь признавать трудности и тонкости языка, овладел им еще быстрее, чем остальными. «Мой сын, лингвист, — так представляла его всем миссис Цвек. — Скажи что-нибудь по-французски», — и, когда он фразой-другой подтверждал свое знание, просила сказать что-нибудь на каждом из языков. Со всей страны съехались журналисты, вооруженные фотокамерами и блокнотами, и вскоре имя Нормана Цвека вошло в поговорку.

— Сколько же ему лет? — дивились журналисты.

— Девять, — с гордостью ответила мать, в последний раз назвав истинный возраст сына. В дальнейшем с каждым новым языком, который осваивал Норман, он терял год, так что, когда он сложил в голове итальянский, испанский и рус-

ский, ему, вопреки всему, что писали в газетах, поскольку память читательская коротка, было не двенадцать лет, как на самом деле, а девять.

— Всего девять, — сияла миссис Цвек. — Что за сын у меня!

А потом Норман отказался учить языки. Ему надоело служить цирковым уродцем, ему хотелось быть двенадцатилетним, как прочие мальчишки округи. Рабби Цвек его понимал.

— Разве плохо знать девять языков в двенадцать лет? Всё равно он очень умный, — говорил он. — Пусть мальчик живет на свои двенадцать.

Но миссис Цвек была неумолима. Слишком поздно отбирать у сына первородство. Не может же он в одночасье прибавить три года. Это поставит под сомнение всё, что она столько лет о нем рассказывала.

— Мне наплевать, что он не хочет больше учить языки, этот никчемный лентяй, если я сказала, что ему девять, значит, ему девять, в следующем году, Бог даст, ему исполнится десять, и так далее и тому подобное, дай ему Бог долгих лет жизни. Успеет еще повзрослеть.

— А как же Белла? — спросил рабби Цвек.

— Белле восемь, — отрезала миссис Цвек.

— Ей одиннадцать, — с предельной честностью

напомнил рабби Цвек, — и она не скажет тебе за это спасибо.

— Ты хочешь, чтобы она была старше Нормана, хотя все знают, что он наш первенец?

Рабби Цвек замолчал. Жена не собиралась уступать, и он понимал почему. Ради спасения собственной репутации ей приходило поддерживать иллюзию, которую она же и создала.

— Но как же бар мицва? — осмелился спросить рабби Цвек. — *Хашема*[15] не обманешь.

— Он поймет, — уверенно сказала миссис Цвек. — Мы же всё равно устроим бар мицву, какая разница когда?

— Не нравится мне это, — признался рабби Цвек.

— Хочешь выставить меня дурой? — крикнула она. — После всего, что о нем писали в газетах?

Тем и кончился спор. Как ни протестовал рабби Цвек, как ни отказывался Норман учить языки, а тринадцатый день его рождения, вопреки традициям, прошел незамеченным. И лишь на шестнадцатый, когда у него уже густо росла борода, ему позволили заключить завет с Богом.

Завтракали в то утро поздно и урывками. Мис-

---

[15] Примечания: 15

Один из эвфемизмов, которым обозначают Бога в иудаизме. Дословно — «имя».

сис Цвек пыталась нарядить Эстер, младшую, семилетнюю — по любым сведениям — балованную Эстер, которой материнская арифметика не коснулась. Потом миссис Цвек нужно было собраться и доделать холодные закуски. Она поправила шляпку, сшитую к торжеству, и вышла на кухню к остальным. Погладила Нормана по голове, хотя он уже значительно перерос мать.

— Сегодня твой день, — сказала она, — ты станешь мужчиной. Мой сын, лингвист, — привычно добавила она, — уже мужчина.

— Я три года мужчина, — прошипел он. — Кто тут кого дурачит?

Рабби Цвек шикнул на него: не хотел ссор.

— Идем уже. Поздно, — добавил он.

Белла, чьи ноги до этой минуты скрывал стол, направилась к двери.

— Ой-вей, — простонала миссис Цвек, — что у тебя на ногах?

— Чулки, — с дрожью в голосе ответила Белла. — Шелковые чулки из твоего комода.

Миссис Цвек ахнула.

— Мне пятнадцать лет, — напомнила ей Белла.

— Тебе двенадцать! — крикнула миссис Цвек. — Слышишь? Двенадцать! На будущий год, даст Бог, тебе исполнится тринадцать. Иди надень носки. В

твоем возрасте — и чулки! Успеешь еще вырасти. Поверь мне. Иди переоденься, — взвизгнула она.

Белла заупрямилась, несмотря на испуг.

— Белла, — мягко сказал рабби Цвек, — в конце концов, какая разница?

— Нет, — ответила Белла. — Если мне нельзя идти в чулках, тогда я вообще не пойду.

— Переоденься. Слышишь? — прогремела миссис Цвек.

— Нет.

Не успела она ответить, как миссис Цвек влепила ей пощечину, потом другую, третью: ведь ее родная плоть и кровь собиралась с позором распустить полотно фантазии, которое она так усердно ткала все эти годы.

— Иди, Белла, иди переоденься, — взмолился отец. — Видишь, как ты расстроила маму. Белеле, ради матери, иди переоденься.

Белла замялась в дверях, и Норман сказал:

— Ради Христа, Белла, иди надень носки.

О Белле и ее чулках вмиг позабыли: ведь это такая мелочь по сравнению с вопиющим богохульством ее брата.

— Никогда в моем доме такого не было, — прошептал рабби Цвек.

— Да еще в день его бар мицвы, — в тон ему

добавила миссис Цвек.

Рабби Цвек встал, занес руку над сыном.

— Возьми свои слова обратно, — прогремел он. — Такое в моем доме. Дожили.

Миссис Цвек остановила его руку.

— Извинись, Норман. Сейчас же извинись. Сейчас же, сейчас же, — заголосила она.

— Извините, — сказал Норман, и Белла слышала, как по требованию матери он повторил это второй и третий раз, словно чтобы изгнать вырвавшееся слово. Она вошла к себе в комнату. Им сегодня и так непросто. Не хватало еще переживаний из-за ее чулок. Она покорно переоделась и в белых носках последовала за всеми в синагогу.

Белла приподняла ноги, поболтала ими в воздухе. Она уже не помнила, что было в синагоге. Наверное, потому, что эта часть истории не имела к ней отношения. Она невольно вспомнила, как пришла домой, хотя и старалась отогнать эти мысли. Пожалуй, с этого и начались мучения ее брата, а может, и ее собственные. Она растянулась на постели Нормана, чтобы заново пережить событие, последовавшее за бар мицвой брата.

Она вернулась домой первой, чтобы закончить подготовку к званому обеду. Наскоро распра-

вившись с делами, ушла к себе, радуясь, что наконец-то побудет одна. Дверь комнаты оставила открытой, чтобы услышать, как родители поднимаются в квартиру. Села на кровать, но в такой позе белые флаги ее поражения бросались в глаза. И она легла на спину, чтобы их вид не оскорблял ее. Интересно, подумала Белла, когда же ей разрешат, даже попросят, перестать их носить, да и попросят ли. После маленького утреннего бунта ей всю церемонию казалось, будто носки подчинили ее себе, превратились в нечто большее, чем символ лжи о возрасте, — они навеки остановили ее взросление.

На лестнице послышались шаги: кто-то взбежал наверх, перепрыгивая через ступеньку, и открыл входную дверь. Белла ждала, отчего-то волнуясь. Он прошел прямиком к ней в комнату. Закрыл дверь и, не выпуская дверную ручку, развернулся лицом к ней.

— А где остальные? — спросила Белла.

— Они еще сто лет не придут, — ответил Норман. — Болтают с соседями возле *шула*[16]. Они еще сто лет не придут, — повторил он.

Она не смотрела на него. Она знала и предчув-

---

[16] Примечания: 16
Синагога (*идиш*).

ствовала: что-то произойдет.

Что-то неминуемо произойдет между ними. Два человека не могут так долго притворяться, причем по одиночке. Настал момент, когда, средь сора лжи, необходимо высказать правду, известную им обоим, поделиться ею друг с другом, чтобы не сойти с ума.

Он подошел к кровати.

— Завтра, когда всё успокоится, — сказал он, — мне будет шестнадцать, что бы кто ни говорил, а ты сможешь снять эти носки.

Она смотрела на него и радовалась, что он улыбается.

— Подвинься, — сказал он грубовато, чтобы скрыть смущение, и коротко рассмеялся, глумясь над тем, что, как он понимал, станет крайне важным для них обоих.

— Задерни шторы, — попросила Белла.

Норман подошел к окну, и, пока он задергивал шторы, Белла скользнула под одеяло. В комнате стало темнее, она чувствовала, как брат движется у кровати, и вскоре его запретное тело вытянулось подле нее.

Рабби и миссис Цвек возвращались из синагоги, за ними плелась маленькая Эстер, чуть поодаль шли гости.

— Как он держался, наш Норман. — Миссис Цвек облизнула губы и похлопала рабби Цвека по руке. — Я им гордилась. Хороший у нас сын.

— И Белла, — ответил рабби Цвек и добавил, помолчав: — Сареле, забудь ты уже про эти носки. Неправильно это для такой большой девочки, как Белла.

Миссис Цвек остановилась.

— Кому нужны эти носки. С завтрашнего дня никаких больше носков. Ей пора повзрослеть. Смотреть на мальчиков ей пора. Забавно, Ави, — доверительно проговорила миссис Цвек, — она ведь, похоже, совершенно не интересуется мальчиками. Посмотри, как она сегодня убежала домой. Разве я велела ей уходить? Всё же готово. Но нет, ей понадобилось убежать. Такие хорошие мальчики были сегодня в *шуле*. Все хорошие мальчики. И ради чего она убежала?

— Из-за носков, — сказал рабби Цвек.

— Значит, никаких больше носков, — почти выкрикнула миссис Цвек, словно и не из-за нее всё началось. — Никаких больше носков, и мы с тобой еще станцуем на ее свадьбе.

Тут их нагнали гости; выстроившись в четыре ряда перед домом, они заняли весь тротуар. В приподнятом настроении они вернулись в квар-

тиру. Миссис Цвек отворила дверь, проводила гостей в столовую. Всё было готово. Белла стояла у стола, готовая подавать блюда. Миссис Цвек заметила на ее щеках румянец, но приписала его смущению и волнению из-за радостного события. Норман стоял на другом конце комнаты; мать отметила, что он, храни его Бог, бледноват — видимо, тоже от волнения. Выражение его лица побудило миссис Цвек снова посмотреть на Беллу. Она стояла, разрумянившись, и ждала. Миссис Цвек перевела взгляд на Нормана, потом опять на Беллу: в каждом ощущалось что-то такое, что будто бы отскакивало от другого, как мячик, который движется между двумя игроками без всякого их участия. Что бы это ни было, миссис Цвек поняла, что ей об этом не скажут; она стояла меж ними, смотрела то на одного, то на другого и недоумевала, что же ее так встревожило.

Белла села на Норманову кровати, посмотрела на носки.

На следующий день Норман и правда объявил, что отныне ему шестнадцать; никто не возражал. Белла же поймала себя на том, что ей не удается вести себя сообразно истинному возрасту. Не так-то просто избавиться от носков. Она и сама

не понимала, почему никак не получается от них отказаться. Может, ей хотелось и дальше поддерживать материну иллюзию: брат вышел из игры, а она не отваживалась огорчить мать. Она наклонилась поправить складочку на носке. В глубине души она прекрасно понимала, почему не хочет расставаться с ними. Больше ей нечем было увековечить братнюю любовь. Позволь она себе стать женщиной, их совокупление лишилось бы всякого смысла.

— И что с того? — вслух произнесла Белла и встала. Мать умерла: ей она больше ничего не должна, Норману же… Норман далеко, и она должна его разлюбить, должна его разлюбить, эта любовь калечит их обоих. Что же она сотворила с собственной жизнью — в искупление детских отчаянных крайностей? Смирилась с бесплодностью и назвала это «зрелостью». Она бросилась в свою комнату, открыла пустой ящик. Уходя из дома, Эстер, помимо прочих вещей, забыла пару чулок — или, подумала Белла, она их специально оставила? А впрочем, какая разница, ради чего Эстер так поступила. Уж точно не ради нее. Эстер заботилась лишь о себе. Белла разорвала целлофановый пакетик, аккуратно достала чулки и положила на кровать. Впилась в

них взглядом, пытаясь представить, что это такая же естественная часть ее самой, как извечные белые носки. Получалось плохо. Но она привыкнет к ним. Ей придется привыкнуть. Белла сняла носок, опустилась на кровать. Медленно натянула чулок, и при мысли о безносочном будущем ее охватило отчаяние. У нее сформировалась зависимость, как у Нормана, и, как ему, белый цвет навевает ей иллюзии. Но она будет сильнее Нормана. Она заставит себя исцелиться. Ногой в чулке она стянула второй носок, и, когда он упал на пол, зазвонил телефон. Белла замерла, прислушиваясь к звонку, сидела на кровати, свесив ноги — одна в чулке, другая босая. Она знала, что звонит Норман. Значит, почувствовал перемену в доме. Что-то ему подсказало, что Белла как раз избавляется от него. Она побежала к телефону, единственный чулок сполз, собрался гармошкой.

— Алло!

— Белла?

— Как ты?

— Хорошо, хорошо. Мне гораздо лучше. Дивное место. Мне тут уже очень помогли. — Норман на едином дыхании выпалил отрепетированный текст.

— Я рада, рада, — машинально ответила Белла,

поражаясь тому, что эта новость ничуть ее не обрадовала. Она лишь надеялась, что ее голос не выдал безразличия. — Это чудесно, — так же безучастно продолжала она. — Как же тебя лечат?

— Это всё сон. Прошлой ночью я отлично выспался, мне дают успокоительные.

Повисло неловкое молчание.

— Хочешь, я приеду тебя навестить? — робко спросила она.

— Да. Я думал, вы приедете. Вы же сегодня всего полдня в лавке. Я думал, вы приедете с папой.

— Один из нас приедет точно, — к собственной радости, выкрутилась Белла. Ей не хотелось его видеть, и она вынуждена была признать: мысль о том, что он поправится, не давала ей покоя. — Тебе что-нибудь нужно? — спросила она.

— Да, — выпалил Норман. — Мне нужны деньги. Дико хочется шоколада. Много-много шоколада. Еще мне нужно купить мыло для бритья и кучу всяких туалетных принадлежностей. Ты привези денег, и я сам всё куплю. У нас здесь есть лавочка. Тут совсем как в городе. До чего же хочется шоколада! Как подумаю, так слюнки текут.

Белла склонилась над телефоном. Ее охватила слабость. Норман говорил как ребенок, и в порыве любви она решила, что вместе с ним вернется в

детство. Она нагнулась, сняла шелковый чулок.

— Будет тебе шоколад, — мягко сказала она, — столько, сколько захочешь.

— Только я хочу сегодня, — нетерпеливо проговорил Норман. — Вы ведь приедете, правда?

— Приедем, — ответила Белла, не решаясь повесить трубку. — Мы тебя любим.

Ее отцу придется разделить с ней вину за эту любовь. Она не в силах нести это бремя в одиночку. Они вместе поедут к Норману, она наденет белые носки: пусть мать давно умерла, а Норман в лечебнице и уверяет, будто поправляется, но связующая их иллюзия не изменилась.

9

Белла подумала, что сама купит Норману всё необходимое, и обрадовалась. Она решила съездить на автобусе в центр города, где, в отличие от их убогого квартала, выбор шире. В автобусе она мысленно составляла список покупок, но на нужной остановке так и осталась сидеть, проводив взглядом выходящих пассажиров. Отвернулась от окна, притворяясь перед самой собой, будто нечаянно проехала свою остановку, и вышла на четвертой, стараясь убедить себя, что возле дома Эстер оказалась случайно. К сестре она ездила редко. Эстер была так несчастна, что Белла воспринимала это как личное наказание. Куда удобнее было переписываться. Но теперь ей нужно было сообщить сестре, что Нормана упекли в психушку: не так-то просто написать о таком. Вдобавок она предвкушала реакцию Эстер. Это хоть отчасти облегчит ее бремя. Она надеялась, что муж Эстер на работе. Она не могла заставить себя назвать его по имени. Она винила его в несчастье сестры, хотя в глубине души знала, что он тут ни при чем, что его использовали и брак

их был обречен с самого начала. Но нужно же винить хоть кого-то, тем более что Джон всегда был готов повиниться. Годами по доброй воле он играл роль виноватого. Он винил себя даже за то, что не еврей и потому стал причиной семейного разрыва. Он ни разу не выказал неприязни, лишь тихое, кроткое раскаяние, внушавшее Белле отвращение. Она отдавала себе отчет, что в глазах любого другого Джон — прекрасный человек, единственный грех которого в том, что он любил и любит ее сестру. Быть может, я злюсь от зависти, подумала Белла и от этой мысли еще сильнее прониклась неприязнью к Джону.

Она замялась у порога, не решаясь позвонить. Оглядела аккуратно подстриженный, травинка к травинке, газон; по краям явно ровняли вручную. Это сделал Джон. Белый штакетник вокруг газона тоже сделал Джон, пытаясь разбавить однообразие соседских изгородей из бирючины. Джон старался. Даже мезуза на косяке входной двери была делом его рук. Эстер ни за что не стала бы вешать мезузу. Она вышла замуж за нееврея и не видела смысла притворяться. Джон сам взял на себя такую ответственность. Правда, мезузу прибил не с той стороны. Но какая разница? И в самом доме всё тоже сделал Джон. Эстер домом

практически не занималась, словно неизменно рассматривала свой брак как явление временное. Прошло двадцать лет, но почти все ее книги и вещи по-прежнему лежали в квартире над лавкой, и Эстер ни разу о них не спросила: ведь забрать их значило подтвердить, что разрыв окончателен. Белла не раз предлагала сестре заглянуть домой, пусть даже рискуя тем, что ее прогонят. И такой риск действительно существовал, поскольку отец пообещал их умирающей матери, что никогда не простит Эстер. Нет, порог их дома она переступит только после его смерти. При мысли об этом Беллу пробрала дрожь. Она никогда не допускала такой возможности и мысленно прокляла Эстер: хоть бы ей никогда не позволили вернуться домой. Белле не терпелось сообщить ей новость о Нормане. Пусть чуточку пострадает.

Она позвонила в звонок и принялась ждать. Она заранее знала, что придется немного подождать. В доме, где гости редки, после звонка открывают далеко не сразу. Нужно же удивиться, кто бы это мог быть, ведь никого не звали, потом встревожиться, что рутинный, но безопасный образ жизни переменился, потом усомниться, испугаться и уж потом взяться за дело: нерешительно направиться к двери. Белла мысленно

рассчитала по времени каждый этап, и дверь наконец открылась.

На пороге стоял Джон.

— Библиотека сегодня закрыта, — тут же пояснил он. — Местные выборы. — Он просил прощения за то, что его застали в собственном доме. — Я позову Эстер, — добавил он со слабой улыбкой.

Джон проворно отодвинулся, и Белла вошла в дом.

— Это Белла, — крикнул Джон, и практически сразу же в прихожую выбежала Эстер. Она встревоженно хмурилась.

— Папа здоров? — прошептала она. — Он ведь не заболел, правда?

Присутствие Беллы напугало ее до ужаса. Каждый стук в дверь служил предвестием того, чего она вот уже двадцать лет изо дня в день боялась: что станет поздно просить прощения у отца.

— Белла, — снова прошептала она, взволнованная молчанием сестры, — он здоров?

— Здоров. Я просто шла мимо и решила заглянуть к тебе.

— Я сделаю вам кофе, — послышался голос Джона. Он подаст им кофе и удалится, как посторонний, каким его считали сестры.

— Ты хочешь мне что-то сказать, — догадалась Эстер. — Ты никогда не заглядываешь просто так. Всегда по какой-то причине. В чем же дело? — И она села, стараясь успокоиться. — Я знаю, однажды мне придется это пережить. Значит, сегодня, Белла?

— Он здоров. — Белла опустилась на подлокотник кресла и обняла сестру. Тревога Эстер невольно растрогала ее: она представила одинокие дни и ночи, изрешеченные уколами страха за отца. — С папой ничего не случилось, — успокоила Белла. — За него не волнуйся. Дело в Нормане.

— Опять серебристые рыбки? Бедный папа, — сказала Эстер. — Как он это терпит?

— На этот раз всё совсем плохо, — отрезала Белла. Ее злило, что Эстер замечает лишь мучения отца, хотя, видит Бог, Белла тоже страдает. — Пришлось упрятать его в психушку. — Она специально так выразилась, желая наказать Нормана за сумасшествие и за то, что оно делает с ними.

— Значит, он в больнице? — Эстер постаралась смягчить грубость сестры.

— Называй как тебе угодно, — ответила Белла.

— Бедная Белла, — Эстер взяла ее за руку, — как же трудно тебе живется.

После того как сестра это признала, Белла смягчилась, неспешно и подробно рассказала об очередном коленце их брата.

— Чем же я могу помочь? — беспомощно спросила Эстер, когда Белла договорила. — К нему ведь, наверное, не пускают? — с надеждой добавила она, страшась, что ей придется встретиться с ним — сумасшедшим, вдобавок прикованным к кровати и совершенно несчастным. Чего стоит его ненависть или прощение в этаких обстоятельствах? — Я подожду, пока он поправится, — выпалила Эстер. — И приглашу его в гости.

— К нему пускают, — холодно сказала Белла. — Мы с папой сегодня едем его навестить.

— Разве папе обязательно ехать? Неужели нельзя избавить его от этого? — удивилась Эстер и, заметив уязвленное лицо Беллы, прошептала: — Нет, я не поеду. Я не вынесу этого.

Белла встала.

— Тебе плевать на брата! — крикнула она. — Ты думаешь только о себе. Брат болен. Никогда еще ему не было так худо, а ты думаешь лишь о том, что случилось почти двадцать лет назад, и гордость мешает тебе признаться, что ты была неправа. Я знаю, Норман тоже был неправ, — добавила она, не дав Эстер вставить слова, — но

почему бы тебе не забыть об этом? Ты нужна ему. Даже ты. Ему нужны все мы.

Вошел Джон с кофейными чашками на подносе. Эстер улыбнулась ему, обрадовавшись передышке. Он понимающе улыбнулся в ответ, и ей стало мучительно стыдно: он такой хороший человек, а она совершенно его не стоит. Она вспомнила, что в их спальне стоят ее чемоданы, которые она со дня свадьбы так и не удосужилась разобрать, и каждый вечер Джон без единого слова перешагивает через них, чтобы подойти к постели. Она вспомнила, как терпеливо он обставлял детскую, которую она со временем превратила в чулан. Такой человек, как Джон, будет с достоинством ждать и с таким же достоинством примет поражение.

Он налил им кофе, и Белла заметила, что себе он не принес чашку. Ей захотелось, чтобы он остался. Его присутствие разрядило бы напряжение между сестрами. Кроме того, он сейчас почему-то был ей близок.

— Джон, а где твоя чашка? — спросила она.

Эстер вздрогнула, услышав, что Белла назвала его по имени. Да и тон сестры ей не понравился. Она не хотела, чтобы они сблизились. Она знала, что рано или поздно разорвет брачный союз, и не

хотела, чтобы этому помешали — ни со стороны Джона, ни с ее собственной.

— Джон не пьет кофе, — быстро ответила Эстер, коснулась его руки, чтобы смягчить резкость тона, и Джон радостно удалился.

— Не впутывай его, Белла, — сказала Эстер. — Он тут совершенно ни при чем.

Они пили кофе.

— Ты поедешь к Норману? — снова спросила Белла.

— Я беспокоюсь за папу. Не надо бы ему туда ездить, видеть все эти ужасы: как бы ему от этого не стало хуже. Белла, — взмолилась она, — звони мне каждый день, Пожалуйста. Ты ведь позвонишь? Я должна знать, как он себя чувствует.

Белла застегнула пальто.

— Хочешь, пойдем вместе за покупками. Норман просил шоколаду.

— Как же ты его балуешь, — еле слышно заметила Эстер. — Всю его жизнь. Всё, что он хочет. И посмотри на него. Дрянь, наркоман. Плевать мне на него, — сердито выкрикнула она. — Плевать, и всё тут.

Белла направилась к двери, Эстер последовала за ней.

— Папа знает, что ты поехала ко мне?

— Нет, — холодно ответила Белла. — Он о тебе даже не вспоминает.

— Пожалуйста, Белла, поговори с ним обо мне. Хотя бы упомяни мое имя. Большего и не нужно. Хотя бы раз. А потом еще раз. — Она сжала руку сестры. — Не дай ему забыть меня, Белла.

— Постараюсь, — солгала Белла. Имя сестры в доме было под запретом. Даже в воспоминаниях о детстве. Белла знала, что могла бы и попытаться это изменить, но все эти годы предпочитала не вмешиваться. У отца тоже есть гордость.

Они подошли к двери.

— Попрощайся за меня с Джоном, — сказала Белла.

— Передай папе привет от меня.

Белла молчала.

— Но попробовать-то ты можешь, правда? — взмолилась Эстер. — Просто скажи: «Эстер передавала привет». — Она произнесла каждое слово едва ли не по буквам. — Белла, разве ты не хочешь, чтобы я вернулась домой? — прошептала Эстер.

— Как папа решит, — ответила Белла. — Я сделаю что могу.

Но она уже знала, что не выполнит просьбу Эстер. Отец так же горд и упрям, как она, но его

гордость Белле дороже. Он уже немолод, и гордость замедляет его старение. Откажись он от нее — и лишится последних сил. Ну уж нет, если Эстер когда и вернется домой, то исключительно по его воле, которой Белла перечить не станет.

— Позвони мне, — попросила Эстер. — Звони мне каждый день. Ты ведь позвонишь, правда, Белла?

Эта мольба внушила Белле ощущение собственной власти, и она вдруг осознала, что имеет к происходящему самое непосредственное отношение — и к безумию брата, и к страданиям отца, — тогда как Эстер изгнана, обречена дрожать на том конце телефонного провода. Ей стало жаль сестру, и из жалости она поцеловала ее на прощанье.

— Просто упомяни при нем мое имя, — повторила Эстер.

10

Белла зажала под мышкой сверток с Норманови-ми заказами. Она хотела, чтобы у него было всё лучшее, а что за выбор в больничной лавке? Белла купила ему самый изысканный шоколад и туалетные принадлежности, стоимость которых вызвала у нее негодование. Аккуратно завернула их, сперва по отдельности, потом вместе, и перевязала сверток розовой ленточкой. Ее охватило приятное волнение, как в детстве, словно она шла с подарком на день рождения. Рабби Цвек плелся за ней.

От остановки до лечебницы путь был неблизкий, но рабби Цвек этому радовался. Есть время собраться с мыслями, отрепетировать, что он скажет сыну. Весь тот час, что автобус ехал из Лондона, они с Беллой молчали, и он прокручивал в голове текст, раз за разом откладывая решение. Впрочем, его то и дело что-нибудь отвлекало. Он вспоминал прошлую поездку в больницу: это было всего лишь вчера, но уже казалось ему выдумкой, кошмаром. Он узнавал дорогу, которую проделал черный автомобиль,

то и дело с болью замечал знакомые приметы. Антикварная лавчонка «Старый свѣт» посреди деревни лишь подогрела воспоминание о том, как Норман сопротивлялся поездке, В конце ряда домов рабби Цвек обреченно вздохнул и обвел взглядом пассажиров, недоумевая, как можно оставаться равнодушными к его мучениям. Он обрадовался, когда им с Беллой нужно было выходить, хотя последняя стадия путешествия поставила его перед необходимостью решить, что же сказать сыну при встрече.

Он шагал по внутреннему краю тротуара, под раскидистыми деревьями, словно уступал дорогу другим пешеходам, хотя, кроме них с Беллой, на улице не было ни души. Они единственные сошли на этой остановке. Другие пассажиры направлялись в более здоровые места. Домой, в гости на чай, за покупками, и ни от одного из них эта вылазка не требовала ни *лжи*, ни притворства. «Здравствуй, Норман, — шептал рабби Цвек. — Как ты себя чувствуешь?» И тут же отвечал себе: да как он должен себя чувствовать в этом курятнике, где его со всех сторон клюют *мешигине*? Рабби Цвек вздрогнул и попробовал еще раз: «Здравствуй, Норман, сегодня жарко». Нет, тоже не годится. Жарко, холодно — какая

разница человеку, для которого температура — не более чем тошнотворный пустяк, не имеющий никакого отношения к его жизни, полной галлюцинаций. «Здравствуй, Норман», — прошептал он опять. И умолк. Добавить к этой малости ему было нечего.

Они подошли к воротам больницы. Перед ними на развилке аллей стоял большой указатель к корпусам под номером таким-то и сяким-то. Белла посмотрела на отца, ожидая, что он скажет, куда идти, но он не знал номера корпуса Нормана. Однако же двинулся вперед, чувствуя, что ноги сами выведут его куда нужно, причем кратчайшей дорогой.

Все корпуса выглядели одинаково — коттеджи красного кирпича, окруженные мощеными двориками и ухоженными садами. На лужайках сидели люди — скорее всего, родственники: дети, термосы, в середине — одетый в пижаму член семьи. При виде них у рабби Цвека сжалось сердце — от зрелища полной семейной капитуляции. Они не только смирились со своей болью, но и выучились с ней жить. Он надеялся, что Норман в кровати, как и следует, и будет лежать, пока не поправится, а встанет, только когда придет пора ехать домой. Они подошли к стеклянной двери,

и рабби Цвек узнал этот вход. У стены с одного боку осыпалась облицовка, и он вспомнил, как Норман споткнулся, выбравшись из черной машины, и ухватился за стену, чтобы не упасть.

— Это здесь. — Он обернулся к Белле. Осыпающаяся стена — единственное, что он позволит себе запомнить об этом месте, а когда срок пребывания Нормана завершится, забудет и о ней.

Белла вслед за отцом поднялась по лестнице. Сквозь стеклянную дверь чайного коридора был виден теннисный стол, и рабби Цвек узнал двоих игроков. Сперва он узнал спину Нормана, который метался туда-сюда с проворством и пылом, встревожившими рабби Цвека. Но еще сильнее его обеспокоило, что партнером сына был тот самый человек, который накануне вечером сидел на соседней кровати и таращился на него.

— Надо забирать его отсюда, — шепнул рабби Цвек Белле. — Толпы *мешигине*, а мой сын и рад. Ему всё *йом тов*. Идем.

Он распахнул дверь и вошел в коридор, полный решимости положить конец этому веселью. Первым его заметил Министр. Он поймал посланный Норманом мячик и крикнул:

— Глядите-ка, кто пришел. Ваш казначей.

Норман опустил ракетку и медленно обернулся

к ним. Уставился на них, замявшихся на пороге, — отца, согбенного жалостью и стыдом, Беллу, что заботливо положила руку ему на плечо. И почувствовал себя как в школе на вручении призов, когда родители пришли и он их застеснялся. Но к этому чувству тут же присоединилась жалость, он протянул руки, чтобы поприветствовать их, успокоить, помочь освоиться.

— Заходите, — мягко проговорил он, словно был здесь хозяином. — Познакомьтесь с моими друзьями.

— Уже друзья. — Рабби Цвек вздрогнул.

— Да, мои друзья, — медленно произнес Норман, обрадовавшись случаю возобновить вражду. — Это мои друзья, — повторил он. — Все мы чем-то похожи.

— И чем же? — уточнила Белла, чтобы уж разом с этим покончить.

— Родственниками, — сказал Министр, подошел к противоположному концу стола и с откровенным восторгом уставился на Беллу: — Значит, вы его мать?

Белла не ответила, протянула сверток Норману.

— Это тебе, — сказала она.

Норман не сразу взял сверток: он со страхом

догадывался, что в нем.

— Ты пошла и скупила всю чертову шоколадную лавку, — возмущенно произнес он и выхватил у Беллы сверток. — Разве я тебе не говорил принести денег? Или ты не доверяешь мне самому купить всё необходимое? Я тебе что, ребенок? — Норман уже кричал, и рабби Цвек попытался его успокоить. Больше всего ему хотелось уйти из этого коридора и побыть наедине с сыном. Он взял Нормана за руку:

— Давай куда-нибудь пойдем, может, в палату, посидим, поговорим с глазу на глаз, без посторонних?

В голосе его сквозило презрение.

Норман стряхнул его руку.

— Это не посторонние, — передразнил он, — эти люди мои друзья, и всё, что я говорю, они вправе слышать.

— Слышим, слышим, — подхватил Министр. — Значит, не доверяете ему? Я же говорил. Родственники. Все они одинаковы. Послушайте. — Он отодвинул Нормана в сторону. — Он такой, какой есть, я такой, какой есть, и все эти ребята вон там такие, какие есть. Моя матушка раньше тоже носила мне свертки, — доверительно сообщил он рабби Цвеку. — И ведь знала, что у нас тут

лавки, но нет, ей нужно было непременно пойти и самой всё купить. Как будто я младенец. А потом умер мой папа, и я вообще запретил ей приходить сюда. Бедный папа, — пробормотал он себе под нос, — но это хотя бы была его смерть. Обо мне и того не скажешь. Когда я умру, смерть не будет моей, как не была моей жизнь. Это будет что-то, что случилось с моей матерью. Гоните их, — сказал он Норману, — и пусть засунут себе свой поганый сверток сами знаете куда.

Стоило Министру напасть на его родных, как Норман тут же принял их сторону — так же, как ранее защищал Министра от высокомерия отца.

— Идемте в палату, — сказал он. Ему тоже хотелось уединиться. Хотя бы ради того, чтобы иметь дело с одним-единственным врагом, а не метаться вынужденно от одного к другому.

Они прошли за ним в палату. Белла по-прежнему несла сверток. Рабби Цвек плелся следом. Слова Министра задели его за живое, ранили так глубоко, что он даже не отваживался задуматься почему. Ясно было одно: поправился Норман или нет, его нужно отсюда забрать. И отыскать его поставщика. Первым делом. А потом увозить Нормана и лечить его дома. Ему вдруг захотелось немедленно вернуться домой и заново, уже

по-настоящему обыскать спальню Нормана. Но он знал, что, оказавшись возле комода, снова спасует.

Белла подошла к Норманову кровати, и рабби Цвек увидел, что сын ложится под одеяло. Сверток Белла оставила на тумбочке, придвинула отцу стул. Они уселись по бокам от кровати, не отваживаясь взглянуть друг на друга. По проходам между кроватями слонялись пациенты, как обычно в темпе ларго[17], точно грустные метрономы. Один из них, шахматист, с доской под мышкой, направился было к Норману.

— Пошел прочь! — крикнул Норман.

Человек машинально развернулся к центру палаты и возобновил привычный ритм. Норман не хотел, чтобы им мешали. И пусть они трое сидели молча, но даже в этом чувствовалась интимность — в их бессловье, безвзглядье, — нарушить которую было немыслимо.

Рабби Цвек поерзал на стуле, вперился взглядом в сына и вынудил того поднять глаза.

— Здравствуй, Норман, — произнес он фразу, которую репетировал от самой автобусной остановки и теперь не мог не сказать. Он словно хотел

---

[17] Примечания: 17
Самый медленный темп исполнения музыкальных произведений.

забыть о незадавшейся встрече и решил вести себя так, будто они только что пришли.

— Здравствуй, папа. Как ты себя чувствуешь?

— Он *меня* спрашивает, — улыбнулся рабби Цвек. — Ты же у нас в кровати, ты же у нас в больнице, и ты еще спрашиваешь меня, как я себя чувствую. Белла тебе кое-что купила, — мягко добавил он. — Открой, посмотри. Белла так красиво всё завернула. На. — Он протянул руку и взял сверток. — Открой, мне тоже интересно, что там. Наверное, сюрприз.

— Пап, я уже не ребенок, и сюрпризы меня не радуют. И я знаю, что там. Скорее всего, шоколад и туалетные принадлежности. Я бы и сам всё это купил, здесь, в нашей лавке.

Рабби Цвек поежился от его снисходительного тона.

— Я просил у вас денег, — продолжал Норман.

— Открой, открой, — настаивал рабби Цвек и сам принялся развязывать ленточку. Первыми показались шоколадки: рабби Цвек вынул из свертка расписную коробочку. — В *вашей* лавке есть такой шоколад? — презрительно уточнил он, не спустив сыну его снисходительный тон. — Такие сласти ты можешь купить? Такой лосьон после бритья? Фу-ты ну-ты, такое мыло? Нет, ты

скажи, — он подался вперед, — такие хорошие вещи ты можешь купить в вашей лавке?

Норман смотрел на покупки, которые одна за другой падали на кровать. Прикинул стоимость каждой: хватило бы запастись белыми на четыре дня, и он рассердился, что эти деньги выбросили на ветер.

— Шоколад, — с омерзением выдавил он, — кто же осилит столько шоколада. И разве я когда-нибудь пользовался всей этой бабской ерундой?

— Ты просил шоколад, — отрезала Белла. — По телефону ты умолял купить тебе шоколада. Именно как ребенок.

— Как ребенок, — передразнил Норман. — Таким вы хотите меня видеть?

В голосе его слышалась горечь. Он потрогал лежавшие на кровати вещи и с растущей тревогой принялся соображать, под каким еще предлогом выманить у них деньги. Сумочка Беллы стояла в ногах кровати. Норман готов был ухватиться за любую возможность. Но отчего-то побаивался. Ему случалось красть, и нередко, обычно из кассы в лавке. Но это другое. Кассу ведь открывают по тридцать раз на дню. И взять оттуда деньги можно как бы нечаянно. Иное дело сумочка. Тут нужен план, ловкость пальцев, да и сноровки

у Нормана маловато. Однако же это был шанс — возможно, единственный.

Словно прочитав его мысли, Белла взяла с кровати сумочку и открыла. Норман подался к ней, пытаясь заглянуть внутрь. Если в сумочке поживиться нечем, нет смысла и рисковать. Белла достала носовой платок, и Норман заметил большой открытый банковский конверт. Полдневная выручка из лавки: они поехали к нему, и Белла не успела отнести деньги в банк. По опыту он знал, что полдневная выручка в лавке, особенно в короткий день, составляет фунтов пятнадцать. Запас на две недели. Он должен получить эти деньги, а они заслужили их потерять, раз притащили ему шоколад и лосьон после бритья, точно какому-нибудь инвалиду. Он разжигал в себе ненависть к ним, чтобы облегчить кражу. Но оставался практический вопрос: как добраться до сумочки. Возможно, Белла выйдет в туалет, но тогда, скорее всего, возьмет сумочку с собой. Значит, если уж делать это, так здесь, у нее под носом, и перед самым их уходом, чтобы она не успела хватиться пропажи. Белла тем временем убрала платок в сумочку, не потревожив лежавший сверху конверт, и вернула ее в изножье кровати.

— Спасибо за шоколад, Белла, — сказал он. —

Извини, что я вспылил. Ты меня балуешь.

Рабби Цвек улыбнулся, глядя это на выражение братской привязанности — нечастое, но приятное вознаграждение родительства, — не ведая, что Норман рассудил: грабить друга, а не врага — безопаснее, хоть и подлее.

— Как дела в лавке? — спросил Норман. — Справляетесь без меня?

— Ты нам так помогал, — пошутила Белла.

И они разговорились. Время от времени рабби Цвек тоже вставлял словечко. Разговор ни о чем, абсолютно ни о чем, лишь бы не упоминать об истинной причине их визита, а лучше и вовсе обойти ее молчанием. Во время разговора Норман шевелил пальцами ног, потом ступнями, затем икрами, выдерживал приличные паузы между движениями, объяснял — дескать, от здешней пижамы всё тело чешется, — а сумочка Беллы при этом рывками, дюйм за дюймом ползла к его бедрам и в конце концов очутилась там, где он мог дотянуться рукой. Стоило сумочке завершить очередной этап путешествия, как Норман пускался в пространные рассказы о больнице, о знакомых пациентах, когда же сумочка благополучно прибыла в место назначения, он принялся разливаться о том, до чего хорошо себя

чувствует.

Белла все это время следила за сумочкой, загипнотизированная ее медленным, прерывистым перемещением. Она не сделала ни единой попытки ее забрать, хотя догадывалась, куда и для чего та ползет. Когда сумочка замерла на Нормановом колене, Белла мысленно подсчитала утреннюю выручку и задумалась, как бы ее возместить, чтобы отец не заметил. Она, точно завороженная, наблюдала за Норманом, гадая, каким образом он добьется своего, и повернула стул в сторону от кровати, чтобы облегчить ему воровство. Белла улыбнулась про себя. Норман выказывал признаки прежней нормальности, к которым она с годами приноровилась. Сейчас начнет шмыгать носом, догадалась Белла, попросит платок, и едва она об этом подумала, как Норман закашлялся, вживаясь в роль. Откашлявшись, зашмыгал носом, и рабби Цвек пробормотал:

— Вдобавок ты простудился.

— Вдобавок к чему? — Твердая уверенность в собственном душевном здоровье никогда не покидала Нормана.

— Ни к чему, ни к чему, — поспешно ответил рабби Цвек.

— Вдобавок к чему? — не унимался Норман.

— Я тоже простудился, — оттоворился рабби Цвек. — Вдобавок ко мне, — промямлил он.

Норман не стал придираться. Ведь двухнедельный запас почти у него в кармане: можно и уступить. Он снова шмыгнул носом.

— Белла, у тебя нет носового платка?

— Вот, — сказал рабби Цвек. — Возьми мой. — Он вынул из внутреннего кармана белый платок.

— У тебя же простуда, папа, — вставила Белла и понимающе подмигнула ему. Рабби Цвек обрадовался тому, что принял за соучастие в обмане, и убрал платок в карман. — Возьми у меня в сумочке, — добавила Белла.

Норман открыл сумочку, и в этот момент Белла повернулась к нему спиной, нагнулась над кроватью, прикрыв отца, аккуратно сложила его платок и спрятала обратно в карман. Потом оглянулась, чтобы убедиться, что Норман сделал свое дело. Одну руку он сунул под подушку, в другой держал платок, в который сморкался. Всё было яснее ясного. Белла села на стул. Сумочку оставила на кровати: возьмет, когда они соберутся уходить. Ей не хотелось волновать брата.

В палату один за другим возвращались из сада посетители. На улице им было неуютно — ви-

димо, образ жизни родных, привыкших сидеть в четырех стенах, оказывался заразителен: они охотно уступали и препровождали их к кроватям, где те наконец-то могли почувствовать себя в безопасности. Место одного из пациентов было подле Нормана; родственники подвели его к кровати, подождали, пока он ляжет, и с преувеличенной заботой подоткнули ему одеяло. Потом расселись вокруг него — так, чтобы он их не видел и можно было украдкой поглядывать на настенные часы, дивясь, отчего же время здесь течет так медленно. Они сверялись с наручными часами, словно время в лечебнице текло по собственным законам, и часы подчинялись прихотям наблюдателей: один оборот минутной стрелки вмещал в себя недели, один единственный щелчок секундной — перемалывал год. Родственники сожалели, что тут не ограничивали время посещения, как в любой нормальной больнице. Здесь же можно было сидеть сколько угодно — конечно, в пределах разумного, что бы это слово ни значило в таком месте.

У соседней кровати молчали, и молчание это захватило Беллу с рабби Цвеком, который не осмеливался поднять глаза на Нормана. Рабби Цвек посмотрел на мать молодого человека, и

она поймала его взгляд.

— Сегодня чудесный день, — сказала она.

— Да, — вежливо ответил рабби Цвек, тоже обрадовавшись возможности отвлечься, — день чудесный.

— Я вас тут раньше не видела, — продолжала она. — Вы приехали в первый раз?

— Да, — вмешалась Белла. — Я тут впервые.

— О, здесь *прелестно*, — сказала женщина. — Я всегда с таким удовольствием сюда езжу. Для нас это настоящая прогулка. У меня здесь за эти годы появилось немало друзей. Я познакомилась с прекрасными людьми. Когда он выйдет, мне будет этого не хватать.

Рабби Цвек вздрогнул.

— Кто-то приходит и уходит, — продолжала женщина, — мы же тут, наверное, навсегда. — Она смущенно хихикнула.

Рабби Цвек подвинул стул, уклоняясь от ее фамильярности.

— Давно вы… — начал было он.

— Сколько уже, Джордж? — спросила она. — В сентябре будет то ли шесть, то ли семь лет. Да нет же, Джордж, шесть, — поправилась она, хотя Джордж и не возражал. — Я помню, что шесть, — она обернулась к рабби Цвеку, — потому что

шесть лет назад я в первый раз встала за прилавок на благотворительной ярмарке. Видите ли, на Рождество мы всегда устраиваем ярмарку в пользу сиротского приюта, — доверительно сообщила она. — И я тоже встала за прилавок, потому что Билли навел меня на мысль. Правда, Билли, милый? — Она обернулась к мужчине добрых тридцати лет от роду, который уныло съежился под одеялом: по возрасту его впору было называть Уильямом, а не Билли. Он послушно кивнул. Даже выдавил улыбку, хотя предназначалась она не матери. — Сначала мы сделали — а ведь он был тут месяц от силы, — продолжала мать, — чудесную корзинку для бумаг, такую красивую, и Билли отдал ее мне для ярмарки. И каждую неделю к моему приезду делал что-то еще, а я собирала его поделки для рождественской распродажи. Я называю ее «Ярмарка Билли», — сказала она, — и каждый раз продаю всё подчистую. Джордж, передай мне сумку.

Джордж протянул ей большую сумку, откуда его жена с величайшей осторожностью извлекла пластмассовый абажур.

— Ну не прелесть ли, — сказала она, — таких и сто штук купят. Посмотрите, какая отделка. — Она провела пальцем вдоль края, чтобы Белла

всё разглядела, — ей показалось, что та лучше оценит работу. — Как будто женщина делала, — с гордостью добавила она. — Разумеется, здесь для этого есть необходимое оборудование, — щебетала она, — и лучшие учителя. Только лучшие материалы, да и всё остальное.

Белла чуть отвернулась. Ей порядком наскучила эта женщина, вдобавок ей было неуютно и досадно оттого, что их с отцом вежливостью явно злоупотребляют. Рабби Цвек давно уже не слушал болтовню женщины. Известие о том, что Билли здесь целых шесть лет, повергло его в уныние. Он даже испугался: вдруг Норман страдает тем же, чем Билли? — но отогнал эту мысль. Неудивительно, что бедный мальчик *мешуге*, подумал он, с такой-то матерью. Однако же ему непременно захотелось узнать, что с мальчиком, какой-такой недуг держит его здесь долгие шесть лет. Ему вовсе не требовался диагноз: он не испытывал нездорового любопытства к самочувствию молодого человека. Он лишь хотел удостовериться, что наркотики тут ни при чем. «Только бы не таблетки», — мысленно взмолился он. Надо отвести женщину в сторонку и расспросить. Но они не на столько хорошо знакомы, и хотя он догадывался, что она охотно ответит, не хотел унижать

себя расспросами. Он обратится к ее мужу, как мужчина к мужчине. Так будет лучше. Пусть Белла беседует с женщиной. Рабби Цвек встал, подошел к кровати Билли. Он установит контакт с Джорджем через корзинщика Билли, чья жизнь измеряется благотворительными ярмарками его несносной мамаши.

— Вам сегодня получше? — спросил он. Рабби Цвеку хотелось обратиться к нему по имени, но называть парня «Билли» казалось нелепым.

Билли явно удивился его вопросу.

— Вы тут впервые? — спросил он.

Рабби Цвек кивнул. Он почувствовал себя точно новичок в школе, который еще не успел разобраться, что к чему.

— Шесть лет спустя, — ответил Билли, — никто уже не помнит, что ты чем-то болел. И не спрашивает, лучше ли тебе. После такого долгого срока это место уже не больница. А дом.

Смиренный тон мужчины разрывал рабби Цвеку сердце. Хотелось сказать ему что-нибудь доброе, подбодрить, выказать уважение, разбиллить его. Он подумал было похвалить абажур, но чутье подсказывало ему, что Билли не волнуют поделки и, пожалуй, ничто в целом мире не заставит его интересоваться ими.

— Разве вам не хочется вернуться домой? — не придумав лучшего, спросил рабби Цвек.

— Мой дом здесь, — ответил Билли. — Здесь ко мне привыкли. Здесь обо мне заботятся, и за всё это я не чувствую себя обязанным.

Рабби Цвек посмотрел на Джорджа и заметил в его беспомощном взгляде отблеск собственной боли.

— Но зачем ему здесь оставаться? — раздраженно уточнил рабби Цвек. Вообще-то он собирался спросить совсем о другом, но восстал против смертного греха отцова слепого смирения. — Зачем ему оставаться? Зачем? Что с ним такое? — в ужасе допытывался рабби Цвек, страшась, что Норман заразится покорностью Билли. Ему так же сильно хотелось, чтобы Билли выписали, как хотелось, чтобы выписали его родного сына. — Что же с ним такое, из-за чего он тут так долго?

Повисло молчание. Билли взглянул на отца, взял его за руку и потянул к кровати. Он мог вынести собственное несчастье, но только не бремя отцовского страдания.

— Мне вот-вот подберут лекарство от этой болезни, правда, пап? Они всё время экспериментируют. А я старый подопытный кролик, да, пап? — Он ткнул его в плечо и рассмеялся. — Вот

увидите, — внезапно приободрившись, продолжал он, — на следующее Рождество маме придется искать другого мастера для ярмарки.

— Верно, сынок, — подхватил Джордж, — на Рождество твоей маме придется клянчить поделки. — Он тоже засмеялся и дружески ткнул Билли в плечо.

— Тише, мальчики, — мама Билли вернулась к кровати, — перестань, Джордж, ты его перевозбудишь.

Джордж перестал. Они с женой знали, что будет, если Билли перевозбудится. «Перевозбуждение» — таким эвфемизмом они называли «припадки» Билли, и даже рабби Цвеку послышались в этом слове слабые отголоски угрозы и страха. Рабби Цвек с матерью Билли решили поменяться местами, и, когда они оказались рядом, женщина отвела его в сторону.

— Не волнуйтесь, — сказала она, — его здесь снимут с таблеток. В два счета. Жаль, что с Билли не всё так просто.

Рабби Цвек вернулся на стул у Нормановой кровати. Он получил ответ. И хотя он так и не выяснил, чем болен Билли, зато узнал, что не тем же, чем Норман, и возблагодарил Бога за это.

— Белла, — окликнула мать Билли, и рабби Цве-

ка неприятно задела ее фамильярность. — Идите сюда, — крикнула она. — Джордж, покажи юной леди портмоне, которое тебе сделал Билли.

Отказаться Белла не могла, и рабби Цвек остался один на один с Норманом.

— Ну что, пообщался с народом? — спросил Норман. Когда отец отошел к кровати Билли, а его мать завладела Беллой, он почувствовал себя как хозяин, о котором гости забыли, и ему стало до ужаса одиноко. Его вдруг снова охватило желание вырваться отсюда, несмотря на то, что здесь ему обеспечен двухнедельный запас. Тут все сумасшедшие, и он станет как они. Ему хотелось домой. Они должны забрать его отсюда.

Рабби Цвек заметил в глазах Нормана слезы. Наклонился к нему и прошептал:

— Славный малый этот… э-э-э… Билли. Очень славный малый.

— Пап, — ответил Норман. — Я хочу домой. Пожалуйста, забери меня домой.

Слезы покатились у него по щекам, и рабби Цвек в отчаянии обернулся к Белле в поисках поддержки.

— Я постараюсь, — промямлил он, — но и ты подожди, попробуй освоиться. Хотя бы пару недель, — отважился добавить он.

— Не могу, не могу, — сказал Норман. — Позволь мне вернуться домой. Тетя Сэди за мной поухаживает. Я брошу наркотики. Я тебе обещаю. — Он схватил отца за плечи. — Я обещаю, только забери меня домой.

— Я подумаю, я подумаю, — проговорил рабби Цвек.

— Да, но подумай сейчас. Иди поговори с доктором.

— Белла, Белла, — позвал рабби Цвек, злясь на дочь за то, что оставила его без поддержки. — Белла, иди сюда. Он просится домой, — беспомощно добавил он, когда она подошла к кровати.

— Пожалуйста, Белла, пожалуйста, — плакал Норман, — заберите меня домой. Пожалуйста. Скажите им, чтобы меня отпустили.

Белла посмотрела на отца. Каждый из них надеялся, что другой не дрогнет. Рабби Цвек простит Белле, если та оставит Нормана в этом месте, и Белла тоже простит отцу. Оба были бы рады забрать Нормана домой, но оба знали, что ему придется пробыть здесь хотя бы месяц: так сказал джентльмен с портфелем. Однако сообщить об этом Норману не осмеливались.

— Подожди две-три недели, месяц, — наконец решился рабби Цвек. — А через месяц вернешься

домой, слышишь, — он повысил голос, — даже если не поправишься, — добавил он, обращаясь ко всем в палате. — Ты вернешься домой. И хватит об этом. Месяц, потом домой. Я обещаю.

— Почему месяц? — вскричал Норман.

Белла боялась, что он догадался о своем приговоре. В самом слове «месяц» явственно слышались официальные ноты.

— Три-четыре недели, — небрежно сказала она. — Посмотрим, как пойдет. Я обещаю, мы с папой заберем тебя домой.

— Пожалуйста, пожалуйста, — умолял Норман.

Рабби Цвек взглянул на настенные часы. Впрочем, какая разница, который час: он должен уйти. Он должен обыскать комнату Нормана. Нельзя терять времени. Одно он знал наверняка. Нормана нужно забрать отсюда. Но чтобы вернуть его домой, сперва надо найти его поставщика и раз навсегда оборвать эту связь.

— Нам пора уходить, — сказал он.

— Почему? — спросил Норман.

Рабби Цвек не смог придумать ни единой причины — ни разумной, ни наоборот.

— Нам пора уходить, — повторил он.

— Вы бежите от меня? — уточнил Норман.

— Нет, конечно, — вмешалась Белла. — Просто

папе тяжело. Ты же знаешь, Норман. Мы еще приедем. Скоро, — добавила она.

— Не утруждайте себя, — сказал он и демонстративно улегся под одеяло, чтобы они видели, как он страдает, и представили, как ему будет больно, когда они уйдут. Он не собирался облегчать им жизнь.

Но рабби Цвек на него не смотрел. Он понимал, что не вынесет увиденного. Рабби Цвек направился к двери.

— До свидания, папа, — услышал он и от Норманова тона застыл на месте. Рабби Цвек вернулся к кровати.

— Не волнуйся, — он поцеловал Нормана. — Я устрою, я устрою. Ты будешь дома. Тетя Сэди приедет. Ты поправишься. — Он развернулся и вышел из палаты, от слез не разбирая дороги.

Он дожидался Беллу в чайном коридоре. Рабби Цвек надеялся, что она побудет с Норманом еще немного, утешит его. Он уселся за стол напротив комнатушки, где вчера оформляли Нормана. Дверь отворилась, вышел медбрат, накануне успокаивавший рабби Цвека, и приблизился к столу.

— Ему сегодня получше, — сообщил он.

Рабби Цвек слабо улыбнулся.

— Не поддавайтесь унынию, — продолжал медбрат. — В следующий раз привезите ему верхнюю одежду. Возможно, если он оденется, ему станет легче. Это его подбодрит.

— Нет, — отрезал рабби Цвек. Он вовсе не хотел показаться категоричным. Но костюм здесь был совершенно неуместен. Он не допустит, чтобы сын прижился, перебрался сюда с вещами. — Нет, — повторил он уже не так уверенно. — Когда его будут выписывать, тогда и привезу.

Медбрат сходил в комнатушку и вернулся с халатом Нормана.

— Можете забрать домой, — мягко сказал он. — Мы их здесь обеспечиваем всем необходимым.

Рабби Цвек молча взял халат. Медбрат похлопал его по плечу и ушел. Рабби Цвек держал халат в вытянутой руке. Казалось, прежний владелец халата скончался и тот по наследству достался рабби Цвеку: рукава были закатаны, словно совсем недавно в них еще были чьи-то руки. Рабби Цвек поспешно сложил халат у себя на коленях. Рассеянно полез в карман. Нащупал скомканный платок, клочок бумаги. Он достал бумажку. Она была сложена аккуратным прямоугольником. Рабби Цвека одолела дурнота, как когда он рылся в ящиках комода. Пустой халат не вызывал

подозрений, однако вот вам пожалуйста — он обшаривает карманы, словно сына нет в живых. Но ведь улики могут быть где угодно.

— Как знать? — пробормотал он себе под нос, положил бумажку на стол и развернул.

Там было написано: «квартира в цокольном этаже», под этим адрес и номер телефона. Вдоль нижнего края бумажки его сын приписал от руки: «Кроме пятницы».

Рабби Цвек поспешно сложил бумажку и спрятал во внутренний карман. С глубокой уверенностью похлопал себя по жилетке.

— Убийца, — сказал он себе, радуясь находке. Однако Белле о ней знать не нужно. Он сам пойдет по следу. Он отыщет человека на том конце телефонного номера, и тогда… — Нет-нет, — добавил он. — Я просто его найду, и всё. Мне бы просто найти его и остановить. Просто остановить. — Он снова похлопал себя по жилетке. — Убийца, — прошептал он и расплылся в кроткой улыбке, ведь теперь, когда он нашел его, он был готов его простить.

Белла всё не шла, и рабби Цвеком овладело нетерпение. Ему нужно вернуться домой и начать расследование. Время от времени из палаты выходил посетитель, сперва медленно, потом с

облегчением ускорял шаг и покидал здание. В коридор вышли родители Билли и даже не оглянулись на дверь палаты. Мать Билли держала над головой абажур, точно трофей. Проходя мимо рабби Цвека, они кивнули ему:

— Увидимся в следующий раз.

Джордж беспомощно повел плечами. Ему хотелось этого не больше, чем рабби Цвеку, однако же он знал, что новой встречи не избежать.

Вскоре появилась и Белла.

— Не волнуйся, — не успев подойти к отцу, сказала она. — Я сказала ему, что мы его обязательно заберем. Он успокоился. Папа, — она приблизилась к нему, — Норману здесь не место. Надо забрать его домой. Он здесь с ума сойдет.

— Да-да, — ответил рабби Цвек. — Непременно, непременно. Сперва узнаем, где он их достает. А потом заберем его домой.

— Но ведь мы никогда этого не узнаем, — заметила Белла.

— Узнаем, узнаем. — Его так и подмывало рассказать ей о новой улике, но он так радовался этой находке, что не хотел делиться радостью ни с кем. — Узнаем, узнаем, — повторил он, и Белла подивилась отцовской уверенности.

К автобусной остановке шли в молчании. Раб-

би Цвек сказал себе, что в этот же вечер поедет по адресу в бумажке, — но как объяснить Белле, куда он едет? Придется, да простит его Господь, выдумать какой-нибудь предлог. Белла же раздумывала над собственной тайной: как возместить деньги из лавки, пока отец не заметил недостачи.

Родители Билли уже были на остановке. Приблизившись, рабби Цвек заметил, что мать Билли, зарывшись лицом в большой носовой платок, сотрясается от рыданий. Возле нее в замешательстве стоял Джордж с абажуром в руках, дожидаясь, пока жена выплачет все слезы. Когда пришел автобус, он с нежностью препроводил ее в салон. Рабби Цвек вошел за ними. Он вспомнил, как назойливо женщина вела себя в палате, однако теперь усматривал в этом признак стойкости. В проходе он дотронулся до спины Джорджа. Тот обернулся, благодарно кивнул.

— Это всё напряжение, — сказал он. — Это всё вечная тревога.

— Понимаю, понимаю, — отвечал рабби Цвек. Ему ли не знать, что такое *цорес*.

11

Рабби Цвек вышел из автобуса возле парка. Стемнело, и сама его авантюра, как и незнакомые окрестности, наполняли душу страхом, но вместе с тем и приятным волнением. Он поднял воротник пальто и украдкой огляделся. Стороннему наблюдателю могло показаться, будто рабби играет в сыщика. Он неслышно шагал по тротуару, стараясь держаться ближе к стенам домов. Время от времени повторял в уме адрес. Сто три — то есть пройти ему предстояло немало, а именно сто три дома, потому что дома здесь были только с одной стороны улицы. Он надеялся, что застанет нужного человека, что тот занимается своим делом не только в светлое время суток. Конечно, можно было сперва позвонить. Но по зрелом размышлении рабби Цвек решил, что разумнее не предупреждать о визите. Он поймает его с поличным, застигнет врасплох.

Предлога для отлучки он не придумал, но, когда Белла спросила (он уже застегивал пальто), рабби Цвек, к собственному удивлению, тут же ответил:

— Миссис Гольден позвала меня в гости. Сегодня утром в лавке. Я иду к ней на ужин. Но предупредил, что после ужина приду. Зачем мне ужинать у миссис Гольден, у нас и дома еды полно. — Он сам чувствовал, что разболтался и переигрывает. Его слова легко проверить. Он надеялся, что Белла, если и не поверит, то хотя бы поймет, что ему действительно нужно отлучиться.

Она улыбнулась, помогла застегнуть пальто. Белла догадывалась, что его уход имеет какое-то отношение к Норману, и злилась на Нормана за то, что отец из-за него вынужден врать. Чем всё это кончится? Белла проводила взглядом спускавшегося по лестнице отца. Содрогнулась при мысли о том, что брат умудрился впутать их в свое безумие. Оба всё знают, однако же покрывают вора. Она позволила, даже помогла Норману украсть выручку, хотя прекрасно понимала, зачем ему деньги. Ее отец, быть может, в эту самую минуту договаривается, чтобы Нормана выпустили из психушки, при том что оба отдавали себе отчет: для его же блага ему лучше остаться там. Они не могли допустить, чтобы он мучился, хотя, положа руку на сердце, и она, и ее отец страдали невыносимо. Оба прониклись помешательством

Нормана, приспособились к нему, даже приукрасили, чтобы оно выглядело «прилично». Оба равно виновны. В глубине души Белла понимала: будет лучше, если о брате позаботятся чужие. Она годами крепила в себе уверенность, будто Норман чудит нарочно, чтобы свести их с ума. Она вынуждена на него злиться. Эта злость, как ничто другое, помогала Белле сохранить рассудок. Если мешается ум, родных лучше в это не втягивать.

Рабби Цвек остановился, сверился с номером дома. Двадцать пять. Идти еще долго. Ему казалось, что он прошел уже два таких квартала, как его собственный, то есть в общей сложности домов тридцать. Однако лепившиеся друг к другу дома его квартала не могли похвастаться ни просторными палисадниками, ни боковыми входами. Там, где он жил, с соседями общались не по велению сердца, а потому, что при такой плотной застройке этого было не избежать. Здесь же, наверное, с соседями не знаются вовсе, подумал он.

Из дома он уходил в раздражении, полный решимости наказать Норманова поставщика. Сейчас же, когда цель была уже близка, пыл его поутих. Вдобавок он сознавал и собственную немощь, и полное незнакомство с тем миром, в который вот-вот войдет. Даже если этого остано-

вишь, размышлял он, где гарантия, что Норман не отыщет другого? Может, лучше все-таки пока оставить его в больнице, подумал рабби Цвек, но вспомнил о Билли и прочих *мешугоим*, и решимость забрать Нормана вновь окрепла.

— Ох, — пробормотал он, — и так плохо, и эдак нехорошо. Там, здесь. Скверно и то, и другое.

Наконец, запыхавшись, он остановился у дома номер сто три и схватился за калитку, чтобы унять дрожь в теле.

— Прости меня, прости, — сказал он тихонько и спустился по лестнице в цокольный этаж.

За дверью горел свет. Кто-то явно был дома, и рабби Цвек, поколебавшись, позвонил. Обернулся, посмотрел наверх: улицу отсюда было почти не видать. Рабби Цвек испугался, что попал в ловушку. Толком не понимая, что делает, он снова нажал на звонок, будто молил признать его страх и позволить с ним разобраться.

Дверь тут же отворилась, автоматически среагировав на звонок. Он замялся на пороге. Попасть внутрь оказалось слишком просто. Он бы предпочел, чтобы его не впустили: тогда бы он с самого начала имел право возмутиться. Пока он мешкал, дверь закрылась.

Подумав, он снова позвонил. А впрочем, о чем

тут думать. Он должен решиться и со всем покончить: чем меньше думаешь, тем лучше. Все размышления — лишь помеха. Он действовал нелогично, и вряд ли ему удастся чего-то добиться. Однако же он должен был это сделать. Он должен был совершить хотя бы один настоящий поступок, пусть даже ради самого себя. Пока же он откликался на ситуацию только душевной мукой, растущей болью, питавшейся собственными шевелениями.

Он решительно надавил на кнопку звонка и подвинул ногу к двери, чтобы не дать ей закрыться. Не успела дверь отвориться, как он устремился внутрь, в длинный узкий коридор. Лампы в коридоре не горели, но в самом его конце рабби Цвек заметил освещенное помещение. В центре высилась крытая ковром лестница, скрывавшаяся в темноте, словно вела в пустоту. Он огляделся. Увидел два столика с журналами и большими керамическими пепельницами. Тут и там стояли кресла с твердыми спинками. Рабби Цвек рассчитывал встретить врача, а потому решил присесть, надеясь, что рано или поздно к нему выйдут. Его охватило нетерпение: он опасался, что растеряет решимость и ускользнет тем же путем, каким пришел. Чтобы не сбежать, он вцепился в подло-

котники кресла и принялся думать, с чего начать разговор. «Доктор, я насчет сына», — сказал он себе. Да, годится, на этом и остановимся. Этой вежливой фразой он словно заранее извинялся за оскорбления, которые, быть может, придут ему в голову. Дальше он придумывать не стал. «Доктор, я насчет сына», — повторил он.

Откуда-то — кажется, с темной вышины лестницы — донеслись шаги. Пора; он решил, что нужно подняться с кресла. Из мрака показались ноги мужчины; когда он спустился, рабби Цвек разглядел худощавого и, как ему показалось, для доктора чересчур молодого человека с растрепанными белокурыми волосами, который явно очень торопился. Заметив, как он спешит, рабби Цвек вскочил и невольно преградил путь молодому человеку, направлявшемуся в другой коридор…

— Доктор, я насчет… — начал рабби Цвек.

— Ничем не могу вам помочь. Я здесь не живу, — перебил молодой человек и обогнул рабби Цвека, робко вставшего у него на пути. Судя по всему, молодому человеку не терпелось смыться. Он юркнул мимо рабби Цвека и крикнул из коридора: «Я здесь не живу», словно это было главное, что ему хотелось объяснить. Хлопнула дверь, и молодой человек взбежал по ступенькам

на улицу.

Рабби Цвек снова сел и принялся ждать, обрадовавшись передышке, поскольку фальстарт порядком его утомил. Он выбился из сил. Так долго шел от автобусной остановки, что теперь ныли ноги. Он закрыл глаза, отгоняя отвращение и страх перед тем, что делает, и целиком отдался охватившей его усталости. Он чувствовал, что засыпает, но ему было всё равно.

Не успел он закрыть глаза, как увидел, что ему улыбается Норман. Рабби Цвек понимал, что ему это снится, но хотел удержать и сон, и согревающий образ, который тот принес.

— Папа, — сказал Норман, — смотри, что у меня для тебя есть. — Он с улыбкой сидел на кровати, спрятав руки под одеяло. — Отвернись, — попросил он, — и не оборачивайся, пока не скажу. Это сюрприз.

Рабби Цвек отвернулся, обвел глазами палату. Она была пуста, лишь в дальнем конце, у двери, стояла кровать. Там, откинувшись на подушки, читал книгу абажур, и, когда он переворачивал страницы, свет мигал, загорался и гас.

— Можно, — крикнул Норман, и рабби Цвек обернулся. На кровати стояла корзинка для бумаг. Норман держал ее с гордостью. — Я сам ее

сделал, — сказал он. — Я сделал ее для тебя, папа.

Рабби Цвек взялся за корзинку.

— Я не могу ее поднять, — заметил он. — Очень тяжелая.

Норман засмеялся и свернулся калачиком под одеялом, спихнув корзинку на пол.

— Конечно, не можешь, — сказал Норман. — Она же полная.

Рабби Цвек заглянул в лежащую на полу корзинку. Она действительно была полная. Она полнилась Билли.

Рабби Цвек проснулся. Не вдруг, а постепенно и без особой уверенности, что всё это ему приснилось. Он быстро вспомнил, где находится, и разозлился, что к нему так никто и не вышел. Он встал, подошел к подножию лестницы.

— Эй, есть тут кто-нибудь? — крикнул он и удивился тревоге, слышавшейся в его голосе. Он знал, что короткий сон его напугал, но забыл, чем именно. Осталась лишь сильная злость.

Он поднялся на две ступеньки.

— Эй! — крикнул он еще раз и, заслышав шорох наверху лестницы, поспешно вернулся на место. Попытался припомнить, что хотел сказать доктору, но фраза вылетела у него из головы.

Он уже раскаивался в том, что разозлился.

Плохое начало. Он решил вести себя как ни в чем не бывало и развернулся спиной к лестнице. Сверху опять донеслись какие-то звуки, рабби взял со столика журнал и принялся рассеянно листать. Со страниц на него смотрели фотографии голых девиц, и он решил, что всё это ему снится. Не могут же в приемной у доктора быть такие картинки. Нужно встряхнуться. Он брезгливо отшвырнул журнал. Он готов был признать, что журнала там и не было, что он ничего не видел, вообще не бывал здесь и лучше бы ему уйти, стереть случившееся из памяти. Он направился к выходу.

— Да? — раздался голос у него за спиной.

Он обернулся. У подножия лестницы, опершись на перила, словно в изнеможении, стояла женщина. Рабби Цвеку показалось, что она явилась в спешке. Он уставился на нее, ожидая, что она снова заговорит, так как всё еще сомневался, вполне ли он в сознании, или до конца не опомнился от страшного сна.

— Да? — повторила она.

— Я насчет сына, — сказал он.

— Поднимайтесь, — ответила женщина, лениво развернулась и, сутулясь, поплелась вверх по лестнице. Поднявшись, обернулась и увидела, что

рабби Цвек стоит где стоял. — Идемте, — сказала она. — Не могу же я с вами тут всю ночь торчать.

Рабби Цвек изумленно двинулся за ней. Он решил, что это жена или помощница доктора, а кабинет наверху. Однако вид женщины его смущал. Она была неопрятна. И еще журналы. Они ведь тоже не имели никакого отношения к медицине. Но он всё равно последовал за ней, держась за перила и ускоряя шаг, поскольку опасался, что в темноте потеряет ее из виду. Наверху ему пришлось пробираться на ощупь. Потом в темноте вспыхнул луч. Женщина отворила дверь и отступила на шаг, пропуская рабби Цвека. Он пошел на свет, замялся на пороге. Перед ним была неубранная кровать, сломанный абажур и гора одежды на стуле.

— После вас, — с преувеличенной любезностью произнесла женщина.

Рабби Цвек уже отчаялся увидеть доктора, но признавать правду все еще отказывался. Он вошел в комнату. Та оказалась теснее, чем он ожидал. Почти всё пространство занимала кровать. Кроме нее в комнате был комодик, второй стул и грязный умывальник в углу. Он впился взглядом в чашу умывальника в надежде, что это поможет ему успокоиться. И заметил длинный

черный волос, змеящийся вглубь стока. Рабби Цвека отчаянно затошнило. Женщина закрыла за собой дверь.

— Доктор, — сказал рабби Цвек, хотя слово это звучало нелепо, — я насчет сына.

— Какой еще доктор, какой сын? — спросила женщина. Казалось, она немного очнулась. Взяла с кровати грязную гребенку и провела ею по волосам.

— Вы не доктор, — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес рабби Цвек. Ему хотелось объяснить ей, что всё это ошибка.

— Я похожа на доктора? — улыбнулась женщина, заметив, как он расстроен. — Что случилось?

Она подошла к нему, и он, к собственному удивлению, не отшатнулся. Напротив, он был безгранично благодарен ей за участие. Его так и подмывало сесть, выплакаться, рассказать, зачем пришел, всю тягостную историю о Нормане в больнице, о Билли на соседней кровати, о матери Билли, рыдавшей на остановке, но больше всего хотелось выплакать собственный стыд. Он шагнул к незанятому стулу, хотел было сесть, но женщина со смехом схватила его за плечи. — Он сломан, — пояснила она. — Садитесь на кровать.

Он позволил подвести себя к кровати, устало

сел, не почувствовав отвращения ни к грязному белью, ни к груде поношенной одежды, разбросанной по сбившемуся одеялу. Женщина стояла возле него и садиться не собиралась. Он впервые заметил, что на ней домашний халат, и с улыбкой увидел, как она взялась за пояс и завязала двойным узлом.

В этом жесте ему померещилось уважение, за которое он тоже был благодарен.

— Так что случилось, — спросила она, — с вашим сыном? В чем дело?

Он не слышал ее вопроса. Он уставился в вырез меж отворотами халата. Несмотря на то, что женщина стянула пояс двойным узлом, халат распахнулся на груди. Рабби Цвек глазел на ее грудь. Женщина была немолода. И отчего-то показалась ему похожей на Сару — просто потому, что он не знал иных сравнений. Шея была в морщинах до самой груди; местами складки скрывала россыпь темных пятнышек. Ее запах показался ему знакомым, напомнил запахи давнего прошлого, и эта смесь приятно взбудоражила рабби Цвека. Так пахла после ванной его бедная Сара, упокой Господи ее душу, подумал он, и в памяти тут же всплыл другой схожий запах — отцовой конюшни, где они со старшими братьями давным-давно

мыли лошадей. Так пахло из комнатушек под самой крышей, когда прислуга в свободный вечер собиралась идти гулять. Все эти запахи воплотила в себе женщина, что сейчас наклонилась над ним, и ностальгия притупила остроту его отвращения.

— Мой сын, — снова проговорил рабби Цвек.

— Да, так что там с вашим сыном? — В голосе женщины слышалось легкое нетерпение. — Давайте уже покончим с этим.

Она наклонилась ниже, и одна грудь вывалилась из халата. Рабби Цвека ее появление ничуть не удивило. Он уставился на грудь. Судя по виду, ее не мешало бы отутюжить. Он вспомнил фотографии в журналах внизу, но эта плоть не имела ничего общего с теми гладкими выпуклостями. Те внушали ему отвращение. Эта — другое дело. Быть может, некогда ее грудь была пышной, округлой, теперь же сдулась, превратилась в ненужный привесок, и обнажение ее было случайным. Он поднял руку, заметил, что так и не снял перчаток. Медленно, палец за пальцем, стянул перчатку, заключил болтающуюся грудь в горсть и убрал за отворот халата. Потом надел перчатку и сложил руки на коленях.

— Ах вы, старый развратник. — Женщина вы-

прямилась.

— Я… — начал он, но понял, что в объяснениях нету смысла. Здесь, на этой кровати, он впервые за долгое время расслабился, успокоился, она же нарушила его спокойствие. Теперь он невольно видел в ней ту, кем она и была, и его тошнило при мысли, что Норман якшался с ней.

— Зачем он к вам приходил, мой сын? — спросил он.

— У меня тут бюро консультации граждан, — съязвила она. — Сами как думаете, зачем? Вы-то зачем пришли? Вот что интересно.

Рабби Цвек поднялся с кровати. Ему хотелось выбраться отсюда. Зря он поехал, только опозорился. Но женщина, похоже, не собиралась его торопить. Она подошла к сломанному стулу и осторожно села, отклонившись назад и широко расставив ноги, чтобы не упасть. Теперь халат распахнулся и выше, и ниже пояса, завязанного двойным узлом. Ноги она выбрила до колен, от колен же до самого паха на рябой коже дыбились волоски. Поза, в которой она сидела, была продиктована желанием не соблазнить, а всего-навсего удержаться на шатком стуле. Однако же рабби Цвеку виделось в этой позе не только стремление к удобству. Грудь он спрятал лишь потому, что

так она выглядела неопрятно, а перчатку стянул, поскольку невежливо прикасаться к человеку, не сняв перчатки. Но сейчас, когда женщина приняла эту позу, его уже не заботила опрятность. Ему нравилось, как она сидит, и было мучительно стыдно, что это так его возбуждает. Уж много-много лет (а может, и никогда в жизни), подумал рабби Цвек, его тело не пронизывала такая дрожь вожделения. Он не пытался ее сдержать, и от стыда его трясло еще сильнее. Он обвел взглядом комнату и отыскал новое наслаждение в грязном белье, в груде ношеной одежды на кровати, в омерзительной нечистоте ее тела.

— Как звали вашего сына? — спросила женщина.

— Звали? Звали? — повторил рабби Цвек. — Зовут, зовут, мой сын жив.

— И как его зовут?

— Генри, — не раздумывая, ответил рабби Цвек и удивился, как быстро это имя пришло ему на ум. Так звали одного из бывших мальчишек-подручных в лавке, которого пришлось выгнать, потому что он щупал Беллу.

— Я не знаю ни одного Генри, — сказала женщина. — Да и они всё равно никогда не называют мне своих настоящих имен.

Интересно, подумал рабби Цвек, как представился ей Норман и какое имя назвал бы он сам, если бы она спросила. Он поймал себя на том, что направляется к ней, и, приблизившись, вдруг понял, что, хоть всю жизнь и смирял плоть, никогда не знал искушения. Он годами воздерживался — ради принципов, ради семьи, — но воздержание не составляло для него трудности. Теперь же он наконец познал искушение, и тело угрожало его предать.

— Господи, — пробормотал он себе под нос, замедлив шаги. — Я ведь уже старик. Так давно я жил без этого, так давно ничего не хотел. Почему же сейчас хочу? — Он почувствовал, что потеет. И замер. Он не спешил подойти к ней. В искушении была своя прелесть, и впервые в жизни он упивался ею. Скольких еще радостей он себя лишил? Все обстоятельства его жизни — покойная жена, Белла, замужняя дочь, полоумный сын — послушно улетучились из памяти; он ощущал лишь собственное разгоряченное тело. Он двинулся к женщине.

— Как выглядит ваш сын? — спросила она. — Я, кажется, догадываюсь, о ком речь. У меня не так-то много клиентов.

От ее вопроса он застыл на месте. На короткое

время, пока плоть взяла верх, всё прочее утратило власть, теперь же, после ее напоминания, он увидел Нормана на больничной койке, клочок бумаги в кармане его халата и комнату этой женщины, с кем следовало разобраться здесь и сейчас. Он попятился от нее, ужаснувшись, что на миг пожелал разделить ее с сыном, и пламя похоти, только что лизавшее его тело, теперь обжигало стыдом. От унижения колени его задрожали, как вода[18]. Он коснулся плеча женщины. Она ни в чем не повинна. Время от времени она дарила Норману радость, и за это рабби Цвек был ей благодарен.

— Я пойду, — проговорил он. — Извините. Ошибка. Мы все ошибаемся. Я сам виноват, — добавил он, заметив ее вопросительный взгляд. — За другого вас принял. Но это не вы. — Он направился было к двери, но обернулся. — Вы добры, — сказал он. — Очень добры. Извините, ошибся я.

Он распахнул дверь и оставил ее открытой, чтобы свет из комнаты указал ему путь вниз по темной лестнице. Поспешно миновал приемную

---

[18] Примечания: 18

Ср. Иез 21:7: «И когда скажут тебе: „отчего ты стенаешь?“, скажи: „от слуха, что идет“, — и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода».

и прихожую.

Задыхаясь, выбрался по ступенькам на улицу, а очутившись на свежем воздухе, оперся на перила, чтобы справиться с холодеющим телом и жарким стыдом. Постоял, отдуваясь, и устало поплелся прочь. Язвимый стыдом, он пробирался вдоль стен и так стискивал зубы, что на лице его застыла свирепая ухмылка. Оскалясь, он испустил тихий звериный вопль, отделивший стыд от его существа. Он торопливо шагал к остановке. В автобусе он отвлечется на других пассажиров, на витрины за окном, на оплату проезда, может, даже разговорится с попутчиком.

К счастью, автобус не заставил себя ждать. Рабби Цвек вошел в салон, где уже сидели люди, и сел рядом с каким-то стариком. Но старик сошел на следующей остановке, рабби Цвек остался один, и ему ничего не оставалось, как только смотреть в окно. На этом маршруте не было магазинов, да и прохожие почти что не попадались, вдобавок автобус пустел с каждою остановкой. Чтобы отвлечься от мыслей, лучше идти пешком, а не сидеть в одиночестве, когда не на что смотреть и не с кем поговорить.

— Ох, — вслух произнес рабби Цвек, — что же со мной такое. И Норман, — пробормотал он, — что

же такое.

К нему обернулся пассажир-другой, но не расслышали, что он бормочет. Заметили только, что он расстроен, и поспешно отвернулись.

— Зачем мой сын, — проворчал рабби Цвек, — зачем моему сыну ходить к такой женщине? К нафке[19]! — Он вынужден был произнести это слово. Как иначе ее назвать? Хотя бы эту карту он должен был выложить на стол. И рядом с ней положить карту сына. — Мой сын и *нафка*, — ворчал он. — Почему, почему? Неужели он не мог найти себе хорошую еврейскую девушку? — жалобно вопрошал он. — Разве мой сын ущербный, что вынужден платить за такое? За таблетки, за шлюх он платит. Ой-вей, — вздохнул рабби Цвек, — что за жизнь, что за жалкая жизнь.

Он откинулся на сиденье и закрыл глаза. Скоро он будет дома, со своей доброй Беллой. В конце концов, жизнь не обделила его дарами. Не лучше ли поблагодарить Бога за них. До самой своей остановки он дремал. Выходя из автобуса, почувствовал, что на него смотрят, но его это уже не заботило.

— Моя добрая Белла, — повторял он себе. Этот

---

[19] Примечания: 19
Шлюха (*идиш*).

якорь соединял его с домом.

Он вставил ключ в дверь. Белла уже ждала его. Рабби Цвек не отличался сентиментальностью, но тут бросился к дочери и заключил в объятия.

— Всё в порядке, папочка? спросила она.

— Да, хорошо, хорошо.

— Как поживает миссис Гольден?

— Миссис Гольден? — Он и забыл, под каким предлогом ушел из дома. — А, прекрасно, прекрасно. Как всегда. Искупаться хочу, есть горячая вода? — выпалил он.

— Я сделаю тебе ванну, — ответила Белла.

В ванной его ждали чистое глаженое полотенце, исходящая паром вода, халат и тапочки. И за всё это следовало благодарить Бога. В один прекрасный день, даст Бог, Норман вернется домой. И что такого, если он иногда ходит к *нафке*?

Рабби Цвек разделся. Стараясь не смотреть на свое тело, лег в ванну. Он и так много лет не обращал внимания на свою плоть, сегодня же намеренно ее игнорировал. Ему хотелось отмыться дочиста. Не от той женщины. Нет. Он был благодарен ей за то, что она дарила сыну. Не ее грязь и запах нужно смыть. Это ее дело, и она по-своему честно их заслужила. Он должен омыться, чтобы стать достойным благодати.

12

Норман слышал сквозь сон, что в палате сумятица: пациенты шумели, топали, кричали, свистели, мешали спать. Он шевельнулся, негромко застонал и проснулся в поту. В первые дни в больнице он, просыпаясь, не понимал, где находится и как тут оказался. Ему требовалось время, чтобы сообразить, где он, потому что в глубине души он сознавал, что место это неприятное. Но через неделю он обвыкся и, просыпаясь, отлично знал, где он. И от этого ему стало спокойнее. У него имелся неограниченный запас белых, а деньги можно было при необходимости достать у Беллы. Не о чем беспокоиться. Ему даже расхотелось поскорее выбраться отсюда. Он прикинул в уме, сколько уже пробыл здесь. Он уже не считал дни, как в начале. Около месяца, а больше или меньше — какая разница? Пока есть белые, можно так жить сколько угодно.

Лишь одно не давало ему покоя. Он снова видел *их*. Если ночью ему не спалось, он просил сновторное, чтобы от *них* отделаться. Однако же и во сне чувствовал, что *они* здесь. Сперва он думал,

что принес *их* на себе, на своем теле, и боялся, что медбратья дадут ему нагоняй за неуважение к другим пациентам. Спросил Билли, не видит ли он *их*, но Билли ничего не видел. Впрочем, откуда Билли знать? Он же тут самый помешанный. Министр *их* видел, по крайней мере уверял, что видел, как и многое другое, чего даже Норман с его обостренным восприятием не способен был заметить.

Министр видел *их* экскременты и говорил, что они огромные. Размером с коровью лепешку, сказал он, неужто этим ублюдкам из палаты совсем чутье отшибло, что они не слышат вони? Он ногой откидывал лепешки с прохода, донимал прислугу, кричал, чтобы убрали этот хлев. Угрожал, что нажалуется на них кабинету министров и их выгонят из партии. Это было с неделю назад. Ему вкололи успокоительное, и он до сих пор спал. И это тоже беспокоило Нормана. Окружающая суматоха действовала ему на нервы, но собственная беда заботила его слишком сильно, чтобы сесть на кровати и посмотреть, в чем тут дело. Он ломал голову, как пополнить запас. Перед тем как Министра усыпили, он снабдил Нормана белыми на неделю. Завтра они закончатся. Не хотелось и думать о том, как

прожить без них день, потом следующий и еще один, если Министр не очнется. Норман начал его ненавидеть.

— Коровьи лепешки, — презрительно бросил он, — коровьи лепешки посреди больничной палаты. Ненормальный. Изолировать его надо.

Норман коснулся мокрого лба. Может, он каждую ночь потел, сам того не зная? Из-за чего такой дикий гвалт? Неужели нельзя дать человеку поспать? Вот же сборище психов. Тут ему что-то шлепнулось на голову. Он вскочил на кровати, потер ушибленный висок.

— Какого черта… — крикнул он, открыл глаза и увидел у себя на кровати один из абажуров Билли.

Норман схватил абажур, хотел было запустить им обратно, но заметил, что кровать Билли пуста, а белье и матрас на ней тлеют. В палате никто не спал: одни бегали туда-сюда, заливали огонь, другие попрятались под кроватями, третьи путались у всех под ногами и кричали. Никто, кроме Министра, который проспал всю суматоху: ему хватало собственного бреда, и сон хотя бы приносил ему избавление.

— Где Билли? — воскликнул Норман. — Где санитары? Где хоть кто-нибудь?

И тут же в дальнем конце палаты заметил Билли. Он стоял так пугающе неподвижно, что вокруг него образовалось пустое пространство, поскольку его соседи забились под койки. Чуть поодаль, лицом к Билли, стоял ночной санитар, Эндрюс, новичок и в больнице, и, судя по неуверенному взгляду, вообще в этом деле: кажется, Эндрюс звал Билли по имени, но слов было не разобрать за шумом и гомоном пациентов, стремившихся использовать на полную катушку любую перемену в своем монотонном существовании. Норман поднялся с кровати, направился к Эндрюсу. Встал рядом с ним, чтобы видеть лицо Билли. Смотреть на него было неприятно. Сковывавшая его неподвижность теперь ограничивалась глазами: только они и не шевелились. Прочие же части тела — плечи, руки, ноги — подрагивали от сдерживаемых отрывистых вибраций. Челюсть ходила ходуном, точно хорошо смазанный поршень, и столь же бесперебойно, так что, если бы Билли заговорил, слова выходили бы у него изо рта непрерывно, как телеграфная лента.

— Билли, — упрашивал Эндрюс, — веди себя хорошо, Билли.

В голосе его Норман услышал страх; и правда, было что-то пугающее в механической фигуре,

приковавшей к себе внимание всей палаты. Эндрюс двинулся к Билли, окликая его по имени, умоляя вести себя хорошо, что бы это ни значило.

— Позовите еще санитара, — посоветовал Норман. — Хотите, я схожу позову. Вы один не справитесь.

Сам он вовсе не рвался ему помогать. Норман отчаянно трусил, поскольку живо себе представлял, чем обернется возня с Билли в его теперешнем состоянии.

— Так я схожу за подмогой?

— Сам справлюсь, — отрезал Эндрюс. Он решил, что такие вот передряги — естественная часть его работы: не сумеет справиться в одиночку — распишется в собственной несостоятельности. — Ну же, Билли, веди себя хорошо. — Эндрюс шагнул к Билли.

Вот идиот, подумал Норман, даже очки не снял. Эндрюс подошел к Билли вплотную и остановился. Норман невольно подивился его отваге. Эндрюс что-то говорил, вероятно, повторял прежние благоглупости. Умолял Билли вести себя хорошо, но ни он, ни кто другой не имел никакого права предполагать, будто Билли вел себя плохо. Да и с чего он взял, что Билли в таком состоянии

понимает слова: он ведь сейчас всё равно что машина. Тут Эндрюс поднял руку. Норман сразу же сообразил, что это роковая ошибка, и снова пожалел, что санитар не додумался снять очки. Эндрюс осторожно дотронулся до руки Билли, но и этого оказалось достаточно, чтобы вывести из равновесия весь механизм. Тело лишилось стержня и судорожно затрепыхалось. Изолированная рука взметнулась и, точно заклятая, опустилась бедолаге Эндрюсу промеж глаз. Норман услышал глухой стук, увидел, как посыпались на пол осколки стекол. Эндрюс покачнулся. Палату окутала тишина. Пациенты, стараясь не приближаться друг к другу, направились к Эндрюсу. Когда вокруг собралась толпа, Эндрюс упал. На него никто не смотрел. Все уставились на Билли, которого по-прежнему потряхивало. Он оглядел свои судорожно трясущиеся конечности и отвернулся, словно жалея, что двигатель ему достался негодящий. Норман покосился на Эндрюса. «Так тебе и надо, — подумал он. — Нечего было лезть в герои». Лицо санитара было в крови, мостик очков врезался в переносицу, оправа торчала, как перебитые крылья. Норман направился в комнату санитаров и позвонил в первый же увиденный звонок. Потом заметил, что на кушетке крепко

спит Макферсон, который дежурил этой ночью вместе с Эндрюсом. Норман потряс его за плечо.

— Там беда, — сказал он. — Эндрюс ранен.

Макферсон очнулся. Схватил Нормана за рукав пижамы.

— Шутите, что ли? — спросил он.

Норман вырвал руку.

— Сами посмотрите, — ответил он и вышел из комнаты.

Макферсон последовал за ним. Окровавленный Эндрюс по-прежнему лежал на полу. Билли же набрал обороты. Вошел в прежний ритм и трясся как заведенный. Собравшиеся вокруг пациенты наблюдали за ним с растущим унынием. Макферсон смекнул, что происходит, и направился к Эндрюсу. Поднял его, уложил на ближайшую койку.

— А вы марш в кровать, — крикнул он пациентам.

Присутствие Макферсона подействовало успокаивающе, и даже те, кто прятался под кроватями, осмелились выбраться. Макферсон давно работал в больнице. Он был добр, но тверд и не любил никого наказывать. Мельком взглянув на Билли, он направился к телефону. Пробормотал что-то в трубку, положил ее на рычаг и обошел палату,

стараясь не приближаться к Билли и не обращать на него внимания.

— По койкам, живо, — сказал он замешкавшимся.

Норман вернулся к кровати, сел и, как остальные, принялся ждать.

— Представление окончено, — произнес Макферсон. — Пора спать. А ну легли все.

Случившееся его не особо расстроило. Пациенты лежали с открытыми глазами и гадали со страхом, что же будет с Билли, да и с ними — не посадят ли в изолятор? Большинство думало о доме. Макферсон остановился возле кровати, на которой лежал Эндрюс. Достал из ближайшего шкафчика сложенное полотенце, сходил к умывальнику, смочил полотенце водой. Обтер лицо Эндрюса, поцокал языком: надо же, какой неопытный. Попытался снять с него очки, но решил, что лучше оставить это дело хирургу. Умытый Эндрюс выглядел хуже прежнего. Теперь было непонятно, отчего из его переносицы так нелепо торчит оправа. Макферсон чуть улыбнулся, встал на пороге палаты и принялся ждать. Пациенты притворялись спящими, но не сводили глаз с Билли, не снижавшего темпа.

Вскоре прибыло подкрепление: четыре санита-

ра и врач. Кого-то из санитаров, видимо, вызвали из других корпусов, потому что прежде их здесь не видели. Пациенты медленно сели на кроватях. Врач направился к Эндрюсу. Сделал знак двоим санитарам, те вышли и вернулись с носилками. Эндрюса молча вынесли из палаты, оставшиеся двое провожали его взглядом и, казалось, думали: «Пал при исполнении служебных обязанностей».

— Бедняга, — сказал один из оставшихся санитаров, взглянув на разбитое лицо Эндрюса, — не скоро же он вернется.

До этой самой минуты на Билли не обращали внимания. Два оставшихся санитара и Макферсон демонстративно обошли палату и собрались в дальнем конце, за дрожащей спиной Билли. Макферсон отыскал на связке большой ключ и отпер ближайшую дверь. Норман ни разу не видел, чтобы ее открывали, но Министр рассказывал ему жуткие истории о том, что скрывается за этой дверью. По его словам, там навоз по колено. Туда уводили, чтобы добить, разделаться с человеком раз и навсегда. Макферсон отпер замок, приоткрыл дверь и вернулся к двум остальным санитарам. За ними наблюдали сидящие на кроватях пациенты. Макферсон кивнул санитарам, и все трое молча подкрались к Билли. В палате сто-

яла полная тишина, лишь похрапывал Министр. Пациенты следили за их беззвучным наступлением. Когда санитары приблизились к Билли, один пациент, из инстинктивной солидарности с себе подобным, крикнул:

— Берегись, Билли! Берегись!

Но внутренний двигатель совсем оглушил Билли, и он по-прежнему гудел и трясся, не замечая происходящего. Он даже не подозревал, что у него за спиной стоят санитары. Те протянули к нему руки и, как ни в чем не бывало, схватили его и зажали между собой. Потом дружно приподняли, чуть оторвав неподатливое тело от пола; ноги были напряжены, носки свисали вниз. Билли глядел прямо перед собой, хотя вряд ли что-то видел. Если он и сопротивлялся, то незаметно. Санитары держали его, точно три суровых зажима, с силой, которая странно противоречила выражению необычайной кротости на их лицах. Они приблизились к двери, Макферсон придержал ее ногой, и все четверо боком протиснулись внутрь. Дверь закрылась за ними, и, как ни прислушивались пациенты, изнутри не донеслось ни звука. Теперь, когда всё закончилось, они отворачивались друг от друга. Во время представления они ликовали, что всё это происходит не с ними, теперь

же скисли. Большинство завидовало Министру, который всё пропустил и которого происшествие не затронуло. Они ложились под одеяло, каждого мучили горечь и страх, что однажды такое случится с ними. О том, куда пропал Билли, страшно было и думать. Они ведь даже толком не знали и не понимали, где кончаются стены их тюрьмы.

Случившееся ввергло Нормана в глубокое уныние. Не то чтобы ему так уж нравился Билли. Отец Нормана считал Билли славным малым, и этого было достаточно, чтобы его невзлюбить. Тем более что в каждый свой визит отец и Белла большую часть времени проводили с Билли — и вовсе не потому, что интересовались его самочувствием: это была лишь удобная отговорка, чтобы не сидеть возле Нормана. Он перевернулся и уставился на пустующую соседнюю кровать. Матрас и белье унесли, одеяло аккуратно свернули и положили на пружинную сетку. Казалось, кровать больше не нужна, словно Билли только что умер, и Норман ужаснулся, до чего же быстро стирается всякий след человека. С чего всё началось, что случилось, пока он спал? Билли поджег матрас? Кто его поднял с кровати? В какой момент происходящего Билли вдруг сделался неприкосновенным? Интересно, где он теперь,

осмелился подумать Норман. По-прежнему ли заключен в собственную крахмальную жесткость, в эту импровизированную смирительную рубаху?

Норман повернулся на другой бок. Он понимал, что заснуть уже не удастся. Он слышал, как соседи мечутся на кроватях. В дальнем конце палаты кто-то всхлипывал. Норман разозлился: неужели так трудно спрятать беспомощность, которую каждый из них пытается подавить в бессонной своей постели? Он снова повернулся, не открывая глаз, потому что знал: они здесь, а ему и без них хватает заботы. А с ними он разберется утром. Он лично от них избавится, если уж кроме него некому. Сейчас ему больше всего хотелось заснуть. Он услышал шаги в проходе. Должно быть, вернулся Макферсон; Норман подумал, что руки у санитара, наверное, в крови. Он сел на кровати и окликнул Макферсона. Тот подошел, подоткнул Норману одеяло. Макферсон был бледен. Подобные приступы случались с наскучившей регулярностью, особенно в Норманової палате, но Макферсон каждый раз переживал как впервые.

— Ложитесь спать, Норман, — сказал он.

— Я не могу заснуть. Дайте снотворное.

— Сейчас принесу, — прошептал Макферсон.

Не успел он отойти от Нормана, как другие пациенты сели и тоже обратились к нему с просьбой о забытьи. И не ложились, пока он не вернулся. Макферсон обошел кровати, оделил пациентов снотворным и с деланой суровостью попросил всех ложиться спать. Не хватало еще, чтобы его сочли слабаком.

— Как там Билли, всё хорошо? — спросил Норман, когда Макферсон подошел к его кровати.

— Всё будет хорошо, — заверил Макферсон. — Он скоро вернется. Ему же нужно доделать абажур, иначе его мать устроит нам выволочку. — Он подмигнул Норману. — Спите, — сказал он. — Утро вечера мудренее.

И ушел. Норман зажмурился. Он знал, что *они* тут, и более того — утром тоже никуда не денутся. Не во всём утро вечера мудренее. *Они* будут здесь, а Билли — нет. Норман был бы рад не проснуться вовсе. Но чтобы не проснуться, надо сперва заснуть. Он сунул руку под подушку и тут же отдернул: ведь там тоже *они*. Его одолела дремота, и он отдался ей с благодарностью труса. Вскоре в палате всё стихло, и лишь Министр перевернулся и застонал, точно ему снились кошмары.

13

Назавтра Министр просыпался лишь поесть, и Норман запаниковал. Он прикончил запас, и теперь эти твари ползали по стенам и по его телу. Норман подождал до завтрака. День был погожий, и почти все пациенты, за исключением тех, кто спал беспробудно с самого Норманова приезда, высыпали во двор, сидели на лужайках, читали, писали письма, играли в шахматы или просто умоляли день поглотить их без остатка. В палате было тихо, в коридоре сидел дежурный медбрат. Норман подошел к кровати и возмущенно уставился на безмятежно спящего Министра.

— Министр, — прошептал он и легонько толкнул его. Нужно проверить, трудно ли его разбудить.

Министр не шелохнулся и всё так же мерно похрапывал. Норман шлепнул его по заду, но и это не возымело действия. Интересно, что будет, подумал Норман, если всыпать ему хорошенько, чтобы проснулся, но сейчас последствия его не заботили. Паника сменилась ненавистью. Он со всей силы набросился на свернувшегося под

одеялом Министра.

— Просыпайся, ублюдок, — шипел он. — Просыпайся, или я тебя убью.

Министр повернулся и возмущенно приоткрыл глаз.

— Что-что? — простонал он.

Норман услышал за спиной шаги медбрата.

— Ничего, — сказал он. — Я споткнулся. Прошу прощения.

Он юркнул к себе на кровать и лег. Он не знал, что делать. Ему и раньше доводилось обходиться без таблеток, и он помнил, каким мучением обернулась для него ломка. Хочешь — лежи, хочешь — ходи по палате: боль всё равно одолеет беспомощный организм, и как он объяснит ее причину медбратьям? А если они не поверят, что ему больно? Он открыл глаза. Лежать с закрытыми было невыносимо: голова кружилась, тошнило. Но с открытыми глазами он видел *их*, и отвернуться от *них* было некуда. Потому что *они* кишели всюду. И на его теле тоже. Он не решался стряхнуть *их* с какого-то одного места, потому что тогда они переползут в другое и перепачкают всё его тело своей грязью.

— Всё из-за чертового белья, — сказал он вслух, сел на кровати и оглянулся на Министра. Пы-

таться еще раз не было толку. Рядом с его койкой расхаживал медбрат. Норман задрожал.

— Господи, — крикнул он, — начинается, начинается. — И он бросился в дальний конец палаты, словно пытался убежать от боли. Раскрыл шкафчик с чистящими средствами, схватил большущую пачку стирального порошка. Объятый страхом, направился к стене, посыпал плинтус порошком.

— Что это вы тут делаете? — спросил подошедший медбрат.

Норман не ответил и, лишь израсходовав почти всю пачку, обернулся и оглядел синюю дорожку.

— Пусть эти сволочи сдохнут, — сказал он.

Медбрат схватил его за плечо:

— Норман, что вы творите?

— Неужели, черт вас побери, нельзя держать палату в чистоте? — Норман подбежал к своей кровати и принялся с проворством и силой, изумившими его самого, сдирать с нее постельное белье. Подушки он бросил в ближайший умывальник и включил воду.

— Тоните, сволочи, тоните, — пробормотал он, направился за другими подушками, но медбрат его перехватил.

Все завершилось в два счета. Пришел второй

медбрат, воткнул Норману в руку иглу. Потом его отнесли на кровать. Дали ему новые подушки, укутали одеялом, как маленького. Подмели с пола порошок, убрали намокшее белье. Когда со двора вернулись остальные пациенты, ничто не напоминало о выходке Нормана, а он сам вместе с Министром пребывал в бесцветном безболезненном лимбе.

На снотворных Нормана продержали две недели, пока не вышла вся отрава. Его будили, чтобы покормить, и он сонно жевал, понятия не имея, что именно ест. Время от времени перед ним мелькало растерянное лицо отца, к нему прикасалась Белла. Доносились чьи-то голоса, но не хотелось и думать, что они обращаются к нему. Где ты их взял? Кто дал, кто дал, скажи, скажи, кто дал? Это, кажется, говорил отец. Норман всё спал и спал. Ближе к концу ему уменьшили дозировку, он очнулся, сел в кровати и заметил, что Министр исчез.

Его подняли, провели по палате, вывели в сад. Он охотно признал, что ему уже лучше, однако его мучило чувство утраты, смешанное с раскаянием. Сильнее всего раскаяние становилось, когда его навещали отец и Белла.

— Простите меня, — только и мог выдавить

он, — простите за всё, что я вам сделал.

Он уже не просил, чтобы его забрали домой. Сам сознавал, что не готов, не нужен, да и не стоит того, чтобы они исполнили эту просьбу. Рабби Цвек радовался, что сын пошел на поправку, и пропускал мимо ушей предупреждения доктора, мол, нельзя исключить, что Норман опять сорвется.

— Нам еще предстоит выяснить, зачем ему эти таблетки, — говорил доктор. — И лишь когда мы разберемся в этом, можно будет надеяться, что он откажется от них навсегда.

Рабби Цвек готов был ждать, но раскаяние сына причиняло ему боль.

— Не за что тебя прощать, — говорил он. — Ты ни в чем не виноват. Давай забудем обо всём. Начнем сначала. Ты поправишься, вернешься домой. Вернешься к адвокатуре, и мы начнем сначала.

Казалось, рабби Цвек и сам верит в то, что блистательную карьеру сына ничто не прерывало. Его фиаско на последнем процессе и последующие припадки превратились в кошмар, который не повторится и в который, как во всякий кошмар, не следует верить.

— Норман, а помнишь дело Уотсона? — спрашивал рабби Цвек. — Помнишь, Белла?

Ему хотелось привлечь ее к былому успеху бра-

та. Хотелось претворить его в настоящее, словно газеты по-прежнему пели ему хвалу, а у дверей толпились клиенты.

— Никто не верил, что ему удастся отвертеться, — сказала Белла. — Сколько ему дали? Года три, кажется, за непредумышленное убийство? Он скоро должен выйти.

— Нет, — выпалил рабби Цвек, разозлившись на Беллу, что она столь прямолинейно отнесла успех брата к далекому прошлому, словно всё кончено и больше не повторится. — Не так уж давно это было, — добавил он. Ему не терпелось пересказать историю, чтобы она ожила и вселила в Нормана восторг былого успеха. — Как бишь там? Совсем забыл. — Он посмотрел на Беллу, умоляя напомнить историю, к общему удовольствию. — Чем он убил ее — хлебным ножом? — И рабби Цвек хихикнул, смутившись, что память его подводит. Зато он живо помнил итоги процесса, как все восхищались Норманом и как он сам, не таясь, наслаждался триумфом сына.

— Ты всё выставил так, будто это была самозащита, — говорила Белла. — Хотя, конечно, куда там. Ты и сам в это не верил, правда, Норман?

— Какая разница, во что он верил? — перебил рабби Цвек, почувствовав в ее вопросе угрозу. — С

другим адвокатом его бы повесили, убийцу этого. И все так говорили. Все твердили, что его повесят, никто в этом не сомневался. Они еще не знали Нормана Цвека, — с гордостью произнес он. — И в суде все эти умники плакали от жалости к убийце, потому что Норман рассказал, как ужасно тому жилось с такой ужасной женой. Даже я всплакнул. Помните, как они радовались после приговора? Как кричали «ура!». А всё благодаря Норману Цвеку. — Он подался к сыну, схватил Нормана за руку. — Он тебе жизнью обязан, этот убийца. Кто станет отрицать? И как потом к тебе стекался народ. Все убийцы. Все воры. Всем вдруг подавай Цвека. Помнишь, Норман? — прошептал он. — И теперь ты им снова будешь нужен. Ты вернешься к адвокатуре, мы начнем всё сначала.

Норман отдернул руку, зарылся лицом в подушку.

Наверное, не стоило упоминать об адвокатуре, подумал рабби Цвек. По правде говоря, это ведь он хотел, чтобы Норман занялся юриспруденцией, и в глубине души рабби Цвек сознавал, что его чаяния и надежды в немалой степени послужили причиной сыновнего помешательства.

— Норман должен жить как Норман, — повторял он себе, вспоминая, как в первый их визит

— сколько же времени прошло с тех пор? — Министр заметил: «Когда я умру, смерть не будет моей, как не была моей жизнь. Это будет что-то, что случилось с моей матерью». Это всё объясняло, и Норманово пребывание в лечебнице стало уроком преимущественно для отца.

Через несколько дней после того, как Норман пробудился от долгого сна, доктора сочли, что он готов к интенсивной психотерапии. Он был подавлен, как и следовало ожидать, но не молчалив. Он постоянно разговаривал с медбратьями и пациентами. Чужим самочувствием совершенно не интересовался: его волновало лишь собственное, и о своих проблемах он говорил бесконечно. На первых сеансах психотерапии рассказы его выходили сбивчивыми. Он старался ничего не забыть, словно боялся, что какой-то фрагмент ускользнет, спрячется в подсознании, вызовет боль и галлюцинации, прежде чем вновь отважится заявить о себе. Со временем Норман успокоился, однако на каждом сеансе непременно возвращался к «ней»: имя застревало у него в горле. О чем бы ни шла речь, Эстер неизменно пробивалась сквозь его житейскую путаницу, требуя, чтобы ее услышали. И то, что через несколько недель психоанализа Норман, побежденный гнетущей

тоской, всё же наконец заикнулся об Эстер, бесспорно, было успехом.

Норман вошел в кабинет доктора Литтлстоуна. Тот курил трубку. В другое время Нормана не беспокоил запах табачного дыма, но сегодня, видимо из-за острой депрессии, его затошнило. Вежливо, даже искательно он попросил доктора погасить трубку. Доктор исполнил его просьбу, однако в кабинете по-прежнему пахло дымом. Норман открыл окно и сел ждать, пока запах выветрится. Повисло молчание. Чуть погодя доктор подошел к окну.

— Уже можно закрыть? — спросил он.

Норман кивнул.

Доктор Литтлстоун закрыл окно и присел на край стола.

— Как ваши дела? — задал он вопрос, с которого обычно начинал сеанс. Отвечать на него не требовалось: он значил всего лишь «давайте продолжим с того места, на котором остановились в прошлый раз».

— Я должен рассказать вам о ней, — выпалил Норман. — Я должен рассказать вам о моей… э-э-э… сестре.

Доктор Литтлстоун пересел со стола на кресло. Начало сулило плодотворный сеанс.

Норман же не знал, что говорить дальше. Он гадал, как продолжить рассказ, но не мог думать ни о чем, кроме трагической развязки. Можно было бы начать с конца, изложить события в обратном порядке, и начало объявится само, едва он договорит. Однако Норман и в депрессии не забывал о форме, драме и кульминации: сказывалось юридическое образование.

— Она, — начал он, — моя сестра…

Доктор Литтлстоун ждал. Пока что его помощь не требовалась. Норман четко и связно излагал мысли. Главное — он начал, а дальше сам разойдется. Доктор сперва рассеянно рисовал в блокноте, потом инстинктивно спрятал его, и Норман приободрился. Блокнот напоминал ему записную книжку полицейского — «имейте в виду, всё, что вы скажете, будет записано и может быть использовано против вас». Норману хотелось обо всём рассказать, но так, чтобы потом рассказ его позабыли и больше не вспоминали.

— Ее считали хорошенькой, — начал он. Такое начало, казалось, помогало ему дистанцироваться, переложить на других ответственность за ее историю. — Ее считали хорошенькой, — повторил он, — я же ее особо не замечал. Пока на нее не стал заглядываться Давид. Ей тогда было… — Он

примолк, недовольный тем, к чему клонится рассказ. — Пожалуй, сперва нужно рассказать вам о Давиде, — продолжил он. — Вообще-то я именно о Давиде и собирался рассказать.

— Кто такой Давид? — уточнил доктор Литтлстоун. Вроде бы раньше он о Давиде не слышал. Если Норман и упоминал это имя, то вскользь, без подробностей.

— Давид был… — Норман замялся, затеребил пояс халата. — Пустяки, пустяки, — раздраженно добавил он. — Он был моим другом, вот и всё.

— Тогда расскажите мне об Эстер.

Норман бессильно пожал плечами. Слова переполняли его, но никак не получалось расставить их хоть в каком-то порядке. Он решил отвлечься от этой печальной истории. Подумал о Министре. Норману его не хватало. Должно быть, того выписали, пока он спал. Хорошо, если удастся снова с ним встретиться. Что толку жить так называемой «нормальной» жизнью, если он лишился последней радости и в голове молотом бьется лишь отчетливое сознание собственных мук? Не нужны ему воспоминания, от которых делается тошно. Белые хотя бы помогали их усыпить, удерживали под спудом. Если вдуматься, серебристые рыбки куда лучше мыслей о Давиде. Нехорошо

желать другому вновь оказаться в этой дыре, но Норман всё же надеялся, что Министр вернется и вытеснит Давида из его памяти. Доктор Литтлстоун вертел карандаш.

— Вы хотели рассказать мне об Эстер, — мягко напомнил он.

— Это не имеет значения.

— Вы очень ее любите? — спросил доктор.

— Я ее ненавижу. Неужели непонятно? Я ее ненавижу и никогда уже с ней не встречусь.

— Когда вы ее возненавидели?

— Не помню. Мне кажется, я всегда ее ненавидел. По крайней мере, я на это надеюсь. В ней причина всех моих бед. Гадина ненавистная.

— Чем же она провинилась?

— Ей ведь незачем было это делать, правда?

— Зависит от того, что именно она сделала.

— Она его бросила, вот что она сделала. Ей ведь незачем было это делать, правда?

— Зависит от того, почему она так поступила.

— А, не будем об этом, — сказал Норман. Ему не хотелось это обсуждать, не хотелось, чтобы собеседник вставал на сторону его сестры. Всё равно ей нет оправдания. Единственное, чего ему хотелось, — чтобы его выслушали, не перебивая и не вынося предвзятых суждений. — Не будем

об этом, — повторил он.

— Не желаете ли вернуться в палату? А в пятницу встретимся снова. Быть может, тогда будет проще.

— Нет, я не хочу в палату. Там я вообще ни о чем другом думать не смогу. — Норман навалился грудью на стол, уронил голову на руки.

— Рассказывайте с любого места, не обязательно с начала, — сказал доктор Литтлстоун. — Главное — начать.

Норман поднял голову.

— Один раз мы были в *шуле*, — негромко начал он, понимая, что никакое это не начало, — и я заметил, что он смотрит на нее.

— С кем вы там были? — Доктор Литтлстоун положил карандаш. — И кто на кого смотрел?

— С Давидом, — пояснил Норман, досадуя, что его снова прервали, — он смотрел… на мою сестру. Она сидела наверху. Вы, должно быть, знаете, что в *шуле* сидят отдельно: женщины наверху, мужчины внизу. Обычно мы снизу глазели наверх, как они входят. Конечно же, проще было заметить, как мы смотрим на них, чем когда они глядели на нас. Потому что нам полагалось смотреть на моего отца, который стоял внизу. Он тогда был раввином, утешал, так сказать, страж-

дущих. — Совсем как Министр, подумал Норман, в первый раз подметив сходство между отцом и бывшим своим поставщиком. — Да, так вот, отец тогда был раввином, — громко повторил он. — А мы с Давидом подолгу таращились наверх. По-моему, большинство еврейских браков начинается именно так: со взгляда наверх. Если угодно, вынужденное поклонение. Может, для того нас и разделяют. Не знаю. Ну, в общем, таким вот образом мы проводили время в *шуле*. — Он примолк. — О чем бишь я?

— Вы были в синагоге, — напомнил доктор Литтлстоун. — Вы с Давидом внизу, Эстер наверху.

— Да, верно. И он смотрел на нее. Я заметил, что он на нее смотрит, а он заметил, что я заметил, и вспыхнул, будто в чем-то провинился. «И давно это у них?» — спросил я себя. Я очень разозлился, по двум причинам. Во-первых, что заметил не сразу, а во-вторых, что это вообще происходит.

— Почему же вы разозлились? — спросил доктор Литтлстоун.

— Наверное, ревновал. Потом-то, когда они уже начали встречаться, я радовался за них. Я не помнил себя от счастья. Но поначалу ревновал, потому что… ну… потому что он был моим луч-

шим другом. И я не хотел, чтобы он общался с кем-то еще. У меня, кроме него, вообще не было друзей, и я не собирался его ни с кем делить.

— Расскажите мне о вашей дружбе, — попросил доктор Литтлстоун.

Норман оставил в покое складки халата, откинулся на спинку кресла. Ему стало чуть легче, словно вся эта история произошла с кем-то другим.

— Дружбу разве опишешь? — произнес он, будто они с доктором Литтлстоуном вели философский диспут. — Задним числом я могу во всём разобраться, всему найти объяснение. Тогда же я ничего этого не понимал. Понимал лишь, что мне с ним хорошо, что он — часть меня, а я — часть него. Что мы ссорились, как братья, и так же любили друг друга. Пожалуй, я любил его даже больше, чем брата. — Норман снова принялся теребить пояс. — Как знать. — Он пожал плечами. Его охватила тоска, и отстраненность, с которой он рассказывал до сих пор, испарилась. — Однажды я неделю гостил у тетки — так еле дождался, когда наконец можно будет уехать. Не из-за тетки, из-за него. Я скучал по нему, всё время думал, как он там, чем занимается. Я никому не мог рассказать, как сильно скучаю по нему,

ведь я уже тогда понимал, что это ненормально. Дотерпел до конца недели и уехал. А он ждал меня дома, они с матерью были у нас, и она сказала: «Ну слава богу, ты вернулся. Он всю неделю места себе не находил. Сплошное расстройство мне от него». Точь-в-точь как моя мама. Ей тоже от меня было сплошное расстройство. Заметьте, не просто расстройство, а *сплошное* расстройство. Мы старались их не расстраивать. Они и сами понимали, что мы не хотим их расстроить. Однако ж им от нас было сплошное расстройство. Пришел поздно из школы, не вымыл руки перед едой, не заметил, что шнурки развязаны, и всё: «От тебя сплошное расстройство!» Такое чувство, будто, пока мы были маленькими, они от нас ничего другого и не видели, кроме расстройства. И не просто расстройства, а сплошного расстройства! Я раньше думал, что слово «расстройство» придумали евреи. — Он улыбнулся, вспомнив, как приятно было вернуться домой и узнать, что Давид тоже скучал по нему. Норман поднял глаза на доктора Литтлстоуна. — Вот такие мы были друзья.

— Ваши матери тоже дружили?

Норман не понял, какое отношение этот вопрос имеет к его рассказу, и ответил вяло:

— Кажется, да. По крайней мере, они всегда были вместе. Мать Давида шила нам одежду. И вечно обмеряла мою мать. Видите ли, Давид рос без отца. Тот умер, когда Давид был совсем маленьким. Наша местная трагедия. Мы выросли с этой историей. Мы не знали, как он умер, но догадывались, что лучше не спрашивать. Его смерть стала у нас в общине своего рода мифом. Наверное, поэтому мать Давида больше не вышла замуж. Чтобы не развенчивать сложившийся миф. Все говорили, что она «хорошая женщина», в одиночку растит сына, зарабатывает на жизнь шитьем. Да, они с матерью дружили.

— Вы с Давидом были религиозны? Каждую субботу ходили в синагогу?

Норман рассмеялся.

— *Шул* — это еще что! Да, мы были религиозны. А как иначе, если отец — раввин? В пятницу вечером мы тоже ходили в синагогу. Еще мы ходили в *хедер*: это вроде еврейской воскресной школы. Вдобавок отец занимался с нами отдельно. Он считал своим долгом воспитать Давида в еврейских традициях: отца-то у него не было. Да уж, мы были религиозны, еще как религиозны.

Норман затеребил пояс халата. Ему трудно было сосредоточиться на рассказе. Мысли сами возвра-

щались к Министру. Как он мог уйти, не оставив клиентам хоть какого-нибудь запаса? Норман не знал, кто из пациентов кроме него самого зависел от Министра: здешние обитатели особо не распространялись о том, что их сюда привело, разве что всё и так было ясно. И невозможно было узнать, кто еще страдал от отсутствия Министра. Да и кто здесь не страдает, подумал Норман. Мы все здесь в аду. А он лишь мельком коснулся истории, просившейся наружу из бездны его нутра. Он нуждался в помощи доктора Литтлстоуна, но каждый вопрос вызывал у него раздражение. Ему хотелось рассказать историю на свой лад и чтобы она осталась его историей, а не случаем из практики. Потому что история, как и сны, кто бы ему ни снился, принадлежала ему, и только ему.

Доктор Литтлстоун кашлянул, напоминая о себе.

— В самом начале, — проговорил он, — вы собирались рассказать мне об Эстер. Расскажите мне, какой она была, пока в вашей жизни не появился Давид.

— Давид был всегда. По крайней мере, я не могу сказать, когда именно он появился. Я просто не помню. А если бы и помнил, это всё равно не имело бы никакого значения.

Доктор Литтлстоун демонстративно устроился поудобнее: откинулся на спинку кресла и вытянул ноги. Казалось, впервые за весь сеанс ему не терпелось услышать продолжение, и не из профессионального интереса, а из откровенного любопытства. И Норман откликнулся. Он заговорил, сперва неохотно, но потом разошелся. Он смутно сознавал, что своими словами уничтожит самую надежную линию защиты, и со страхом гадал, что же выстроить взамен. Неужто дни белых вернутся, потому что зависят от этой истории, или всё обстоит ровно наоборот? История меж тем развивалась словно сама по себе, история об Эстер и о том, какое он имеет к этому отношение.

— Долгое время я не обращал на Эстер внимания. Она была маленькая, и все ее баловали. Вдобавок она была хорошенькая, не то что остальные члены семьи. Посмотрите хотя бы на меня, да и Белла у нас красотой не блещет. Вы ее видели, она меня навещает. И мать у нас была не красавица, и отец… впрочем, я никогда не оценивал его с этой точки зрения. В общем, Эстер была хорошенькая, этого не отнять, а когда подросла, то и вовсе расцвела. Отец даже забеспокоился: боялся, что собственная красота вскружит ей голову, и

усерднее занимался воспитанием Эстер, я имею в виду, в еврейских традициях, чем моим или Беллы. Любил он ее до безумия, и мать тоже ее любила, но уж за это Эстер точно нельзя упрекать. Она была маленькая, хорошенькая и вообще ни в чем не виновата. Мне кажется, они боялись, что красота подтолкнет ее выбрать жизненный путь, который для нас был заказан, — путь гоев, как называли его мои родители. Но, видимо, отец так усердствовал с ее воспитанием, что Эстер стала религиознее нас всех. Всё время выискивала в Законе новые правила, которые нужно соблюдать. Меня это раздражало. Вот же святоша, думал я, но вслух не говорил: мы не смели ей и слова поперек сказать. В общем, Эстер выросла, я с ней толком не общался, зато дружил с Давидом, а с прочими нам водиться было и некогда. Иногда я замечал, что Эстер буквально изводит Беллу. Смеется над ней из-за того, что Белла носит белые носочки, хоть и взрослая. Уж не знаю, что ей взбрело с этими носками, но, в конце концов, на свои ноги Белла имеет право надевать что хочет. Ну да это другая история и ко мне отношения не имеет.

Доктор Литтлстоун поерзал в кресле.

— Ко мне эти ее белые носки отношения не имеют, — повторил Норман. — Это личное дело

Беллы, а из нас двоих сижу здесь я, так что оставим это. Я вам рассказывал об Эстер.

— Я вас слушаю, — отозвался доктор Литтлстоун.

— Так вот, в пятнадцать лет она бросила школу. Она была не очень способная, разве что к ивриту да Торе, а в остальном швах. Какое-то время помогала родителям в лавке. У нас своя бакалейная лавка, — пояснил он. — На первом этаже лавка, а на втором живем мы. Она досталась матери от моего деда, и, пока отец исполнял обязанности раввина, мать занималась лавкой. Потом отец отошел от дел и стал помогать матери в лавке. Покупателей и так-то было немного, а уж когда по соседству открыли супермаркет, необходимость в помощниках и вовсе отпала, так что Эстер вместо отца стала вести уроки иврита. Сперва у младших, потом, через несколько лет, во всех классах хедера. Родители ею гордились. Я тогда как раз получил диплом и стал зарабатывать, пусть сперва и немного. Мною родители тоже гордились. Вообще, если вдуматься, им было чему радоваться. Конечно, Белла не молодела, и с каждым годом шансы выдать ее замуж стремительно сокращались, но такая Белла есть в каждой еврейской семье. Тоже своего рода *нахес*.

Самим Беллам, разумеется, от этого не легче, но, казалось, она вполне довольна жизнью, хотя эти ее белые носочки порядком действовали мне на нервы. Вы еще не запутались? — спросил он доктора Литтлстоуна.

Интересно, подумал Норман, понимает ли тот хоть что-нибудь — а впрочем, плевать. Плевать, даже если ему надоело слушать. Главное — рассказать историю до конца. Ему самому уже эта история порядком прискучила, что, пожалуй, объясняло вялость и плавность рассказа. Он будто излагал факты на заседании в суде, словно всё это случилось с кем-то другим, а Нормана по какой-то причине выбрали в глашатаи.

— На новой работе у меня появилась масса знакомых, — продолжал он, — но самым близким другом по-прежнему был Давид, и я мчался домой с работы, чтобы провести с ним вечер или посидеть с ним, пока он занимается. Он учился на последнем курсе медицинского. Я часто сидел в его комнате и наблюдал, как он читает. Он сидел, облокотись о стол и подперев голову левой рукой, но никогда не сутулился. Всегда держался прямо, и на лице его отражалось удовольствие от того, что ***о*** он читал и писал. Часто, докопавшись до сути проблемы, он радостно стискивал руки и пытался

поделиться со мной своим чудесным открытием. Объяснял очень старательно и терпеливо. Он был из немногих, кто искренне восхищался наукой. Потом он прятал учебники, и я рассказывал ему, как прошел мой день. Он забрасывал меня вопросами. Его интересовали малейшие подробности дел, над которыми я работал, бесконечно печалили недостатки закона и плачевная судьба тех, кому выпало с ними столкнуться. Иногда, если удавалось выкроить время, он приходил в суд. Я ждал, пока он появится в зале, чтобы блеснуть перед ним красноречием. Теперь мне кажется, — пробормотал Норман, словно обращаясь к самому себе, — что это были самые счастливые дни моей жизни. Когда он получил диплом, мы отпраздновали это событие с ним вдвоем у него в комнате. Разговаривали — сейчас уже и не вспомню о чем. Помню лишь, как я радовался его успеху, и как он радовался, что делит его со мной.

Норман поднял глаза и с удивлением заметил, что доктор Литтлстоун пристально смотрит на него. Последние несколько минут Норману казалось, что он беседует с самим собой, но, увидев доктора Литтлстоуна, вспомнил, зачем они оба здесь.

— Сейчас перейду к Эстер, — пообещал он. —

Мне просто куда приятнее говорить о Давиде. — И вздохнул как человек, вынужденный выполнять свою работу, несмотря на усталость. — С Эстер у них началось задолго до того, как Давид получил диплом: мой отец тогда еще был раввином. В тот день мы вернулись из *шула*, и я напрямую спросил у Давида, что у него с Эстер. Он ответил абсолютно честно, кажется, удивился и даже обиделся, что я злюсь. Он признался, что питает к ней глубокие чувства, хочет с ней встречаться и хотя еще не предлагал ей стать его девушкой, но намерен в ближайшее время поговорить. Он был со мной совершенно откровенен. Мы поссорились. Я повел себя как дурак. Причем уже тогда это понимал. Ушел домой, решил, что не стану с ним разговаривать. Ну а пока я сидел и дулся, Давид с Эстер начали встречаться. Он приходил к нам, я его избегал, мне было противно смотреть на счастливую Эстер.

Некоторое время я упивался обидой. Давид пытался со мной помириться, но я всякий раз отталкивал его. Мне это даже нравилось. Хотелось на пустом месте спровоцировать разрыв, чтобы потом было слаще мириться. Между тем зашла речь о помолвке: они собирались пожениться, как только Давид получит диплом. В общем, ка-

залось, *fait accompli*[20]. Я же устал от собственной роли. Я ужасно скучал по Давиду, понимал, что нужно принять: Эстер теперь всегда будет третьей. Мы помирились. Правда, примирение наше вышло не таким восторженным, как я ожидал. Слишком уж долго я дулся. Но мы всё равно остались близкими друзьями. Пожалуй, Давид даже сильнее ко мне привязался. Мы по-прежнему общались с глазу на глаз. Ему не хотелось, чтобы Эстер мешала нашей дружбе. И это меня тоже приятно щекотало: наша дружба уникальна, и другим, пусть даже Эстер, ее не понять. Он не говорил со мной о ней, но я видел, что они по уши влюблены друг в друга, и научился радоваться за них. Давид прилежно готовился к выпускным экзаменам, наши матери готовили свадьбу.

А потом с Эстер вдруг что-то случилось. Хотя какое «вдруг»! Я просто не замечал того, что давным-давно совершилось. У нее изменилось лицо. Я обратил на это внимание однажды утром, за завтраком. Трудно сказать, что именно было не так. Черты ее оставались прежними. Изменилось общее их выражение. Она казалась старше, печальнее и от этого еще красивее. Стала задум-

---

[20] Примечания: 20
Дело решенное (*фр.*).

чивой, молчаливой. Мать объясняла ее настроение влюбленностью, отец отмалчивался, я же встревожился. Иногда она пыталась поговорить со мной с глазу на глаз, но я избегал ее. Думал, что она станет обсуждать со мной Давида, и не хотел ревновать. С ней что-то творилось, и мы не имели к этому ни малейшего отношения. Они с Давидом по-прежнему встречались каждый день, но я заметил, что она старается не оставаться с ним наедине. Гулять тоже не ходила: каждый вечер сидела дома с ним и с нами. Стояло лето, в хедере были каникулы. Эстер целыми днями занималась в библиотеке. Ничего предосудительного в этом не было, и всё же порой мне казалось, что она проводит там чересчур много времени. Как-то раз я проходил мимо ее комнаты; Эстер стояла перед зеркалом. Зачесала волосы назад, убрала под платок. После замужества она собиралась в соответствии с традициями обрить голову и вот, видимо, проверяла, как будет выглядеть. Я решил, что она, должно быть, переживает из-за этого и потому изменилась. Мне казалось, над нашим семейством сгущаются тучи — а может, я уже потом это придумал, — однако ж отчетливо помню необъяснимый страх, который домашние не разделяли.

Как-то вечером в воскресенье — дело шло к осени — мы сидели дома: я, Белла, наши родители. Давид уехал навестить дядю, Эстер ушла к школьной подружке. Мать вязала, как сейчас помню, отец читал молитвенник. Белла тоже читала. Я готовился к очередному делу. Словом, все были заняты, и мама первой заметила, что уже довольно поздно. Было за полночь, а Эстер так и не вернулась. Шел дождь. Отец испугался, что Эстер забыла плащ, и отправил Беллу к ней в комнату — проверить в шкафу. Чуть погодя Белла вернулась и протянула нам письмо. На ней лица не было.

— Я нашла его на кровати, — проговорила она.

На конверте Эстер написала: «Моим родным», однако никому из нас в тот миг не хотелось признавать, что это относится и к нему тоже. Белла положила письмо на кухонный стол, мы боялись туда смотреть.

— Прочти ты, — в один голос попросили родители.

Белла неохотно взяла письмо. Обычно расплата за дурные вести, а письмо явно содержало именно их, настигает того, кто их сообщил, и нам с Беллой этого не хотелось. Однако же мы одновременно потянулись к письму: каждый стремился

избавить другого от неминуемой расплаты. В ту минуту мы были страшно близки: так сближает семью смерть одного из ее членов.

— Я прочту, — дружно сказали мы с Беллой; я взял письмо, развернул.

— Я так и знала, я так и знала, — заплакала мама, и мы сразу поняли, о чем она говорит.

Письмо подтвердило наши догадки. Я запомнил его наизусть, хотя прочел всего один раз, но каждое его слово обжигало меня с учетверенной силой — за себя и за каждого сидевшего за столом.

«Родные мои, — начиналось оно, и я помню, как покоробила меня эта фраза, — это письмо причинит вам боль, но и скрывать от вас правду я долее не могу. Две недели назад я вышла замуж».

Я не отважился взглянуть на родителей, услышал лишь, как вскрикнула мама. Отец слабо застонал и принялся словно бы машинально листать молитвенник.

— Дальше, дальше, — попросила меня Белла, надеясь, что следующее предложение опровергнет уже написанное.

И я продолжал читать: «Я вышла замуж за Джона, — говорилось в письме. — Мы встречались несколько месяцев, и я не могла иначе. Я очень

его люблю, мы очень счастливы».

Норман взглянул на доктора Литтлстоуна.

— Этот Джон, — он буквально выплюнул это имя, — работал в библиотеке неподалеку. Он был давним другом нашей семьи. Вообще единственным нашим другом-нееврем. Он откладывал для меня книги. Иногда заглядывал в гости, когда у нас был Давид. Приносил отцу книги. Живо интересовался еврейской культурой. Так на чем я остановился? Да, «я очень его люблю, мы очень счастливы. Давиду я написала, пожалуйста, помогите всё ему объяснить».

Стоило ей упомянуть о Давиде, как я потерял всякий интерес к ее дальнейшей судьбе. Дочитал письмо — в конце она просила у нас прощения, — подметил, что родителям больно, но думал лишь о Давиде и, признаться, не без удовольствия представлял, как буду его утешать. Мне хотелось сбежать из дома, но Давид был в отъезде, и мне ничего не оставалось, как сидеть и наблюдать их страдания. Мамины крики сменились глубоким протяжным стоном, ее тело пронзило животной мукой. Она раскачивалась из стороны в сторону, стонала и тряслась от ужаса. Отец что-то забормотал, я отважился посмотреть на него и заметил, что он открыл молитвы о мертвых.

Норман вздрогнул. О молитвеннике он вспомнил только сейчас. Ему вдруг захотелось увидеть отца, вернуться домой, любить его. В самом деле, подумал он, нет ничего безопаснее любви и заботы о ближнем. Пусть то и другое не всегда оправданно и приятно, однако ж безопасно, и он жаждал обеспечить себе такую вот безопасность. «Бедный папа», — подумал он и уставился в окно. Бедные все. Его вдруг ошеломило, что и он, и его родители, и Белла, и Давид — все были несчастны.

— Да, так я о Давиде, — продолжал он. — Я подождал до завтра. Собирался зайти к нему вечером после работы. К тому времени он наверняка прочитал бы письмо Эстер. Я весь день придумывал, чем бы ему помочь. В радостном волнении подошел к его комнате; помню, поймал себя на том, что так радоваться нехорошо. Окликнул его снизу, стал подниматься по лестнице. Я всегда так делал, и обычно, когда я подходил к его двери, он уже ждал меня. Сейчас он не ответил, но я всё равно вошел. По крайней мере, попытался войти. Приоткрыл дверь дюймов на шесть: дальше что-то мешало, как будто он забаррикадировался изнутри. Я с силой толкнул дверь, и меня прошиб пот. Наверное, я, как и моя мать, знал обо всём

еще до того, как увидел.

— Больше рассказывать особенно нечего, сухо произнес Норман. — Мертвый Давид лежал на кровати: он истек кровью. Крови было столько, что я даже не сразу понял, откуда она вытекла. — Норман умолк. Глаза жгло от сухости, хотелось плакать. — Я ходил к нему на похороны, — добавил он. — Его похоронили у самой стены кладбища, как самоубийцу. И запретили его оплакивать, но я потерял брата и тайком отсидел шиву. Вот и всё, — заключил он. — Я вам всё рассказал.

Норман встал. Он боялся, что доктор Литтлстоун что-то скажет, а ему сейчас не хотелось никого слушать. Сеанс глубоко его разочаровал. Он возлагал на свой рассказ такие надежды, однако же теперь страдал куда сильнее, чем когда выбежал из комнаты Давида и скатился по лестнице. Та боль, как и эта, измотала его физически. Он направился к двери, открыл ее, обернулся к доктору Литтлстоуну и увидел в нем уже не слушателя, а, как и прежде, человека в белом халате, у которого наготове блокнот и ручка. Нормана охватило отвращение из-за того, что он открылся ему.

— Если вам хоть чуточку интересно, — произнес он с невольным презрением, — если вам

интересно, тогда-то я и начал принимать таблетки. Конечно, мне и раньше их предлагали, но на этот раз я не стал отказываться.

Он закрыл за собой дверь и направился по коридору в палату. Норман, тоскливо понурясь, пробирался вдоль стены. Сны порой беспокоили его сильнее действительности, и теперь, рассказав доктору эту историю, он чувствовал схожее беспокойство. Что толку, подумал он. Я рассказал ему о Давиде, больше мне добавить нечего, однако же я чувствую себя точно так же, как прежде, и останусь тут навсегда. Он прошел сквозь вращающиеся двери. В дальнем конце палаты пациенты обступили кого-то и с живым интересом слушали его рассказ. Услышав стук двери, один из стоящих оглянулся и крикнул:

— Норман, смотри, кто вернулся.

И посторонился, чтобы Норман увидел вновь прибывшего. Посреди пациентов стоял Министр. В пижаме, словно не уходил. Норману вдруг показалось, будто Давид и не умирал. Он бросился к Министру, и тот раскрыл ему объятия.

— Догадываюсь, что вам нужно, приятель, — прошептал он ему на ухо. — Как вы тут без меня?

— Слава богу, вы вернулись, — ответил Норман. — Мне вас не хватало. Где же вы были?

— Меня вызвали на заседание кабинета, — сказал Министр.

Остальные нервно рассмеялись, не решаясь отпустить шутку на его счет, однако ж и не решаясь принимать его всерьез.

— По пути из парламента заглянул к мамаше, — продолжал Министр, — и обнаружил у ней в постели какого-то мужика. «Здрасьте-здрасьте, — говорю, — что это вы делаете в постели моей мамаши?» «Я твой новый папа, сынок», — отвечает, и тогда я сказал себе: «Нечего мне тут делать», встал и вернулся в контору.

Слушатели рассмеялись, на этот раз увереннее: глубокое и длительное сумасшествие уже не вызывает отторжения, вдобавок Министр словно и не покидал палату. Он направился к прежней своей кровати, Норман устремился за ним. — Цены чуть подросли, — бросил через плечо Министр. — Жизнь вздорожала, сами понимаете. В отъезде я провел кое-какие исследования. И доложил о них кабинету. Таблетки, сказал я, суть предметы первой необходимости, как и мыло. Они там сидят, чешутся, будто мыла в глаза не видали. С ними не сговоришься. Мыло ведь тоже подорожало, там, снаружи. Как и всё остальное. Моя мамаша шлет вам привет, — вставил он ни с того ни с сего, — и,

раз уж на то пошло, берите его весь, целиком, до паршивой последней капли. У нее-то мыло есть. С утра до ночи драит чертов свинарник, и всё равно навоз по колено. Два фунта в день они теперь, — добавил он без паузы, — и берите сколько хотите. Я купил по дешевке оптом целую кучу. А где Билли?

— Он еще вернется, — ответил Норман, — вы же вернулись. И я вернусь, — сказал он себе, — если вообще когда-нибудь выберусь отсюда. Дайте хоть сколько-нибудь сейчас, — попросил он Министра. — Деньги у меня есть.

— Завтра. — Министр отогнул край одеяла. — Завтра мы с вами начнем сначала. Позавтракаем белыми, приятель?

Теперь, когда белые снова можно было достать, Норманом овладело нетерпение.

— Мне надо сейчас, — возразил он, и ему даже показалось, что начинается ломка.

— Завтра, — отрезал Министр и свернулся под одеялом. — Сперва мне нужно вздремнуть, — пояснил он.

Норман смотрел на спящего Министра. Что же за ад встретил его снаружи, раз он так рад, что вернулся сюда? А может, его привезли силой, на полу машины с дверями без ручек, и ботинок

какого-нибудь социального работника давил ему на живот? Норман направился к своей кровати, предвкушая завтрашние белые. Коль скоро Давид не ушел из его памяти по собственной воле, хотя он, Норман, создал ему для этого все условия, он лично отправит его в белое забвение.

14

Рабби Цвека уже не терзала необходимость во что бы то ни стало найти улики в комнате Нормана. Фиаско с адресом шлюхи отбило ему охоту продолжать поиски. Однако же время от времени он приходил в комнату, сидел на кровати, словно хотел ее согреть к возвращению Нормана. То, что Норман попал в больницу, по прошествии времени уже не казалось рабби Цвеку кошмаром. Раз-другой в неделю он навещал сына, иногда Белла ездила одна. Норман больше не просился домой, и, если не считать тех двух недель, что сын провел во сне, посещения не вызывали у рабби Цвека прежнего беспокойства. Порой его даже тревожило, что он настолько смирился с произошедшим. Интересно, думал он, куда подевался Билли. Недели две или три назад, когда они были у Нормана, кровать Билли пустовала. Норман не ответил, где Билли, и прочие тоже не знали. Рабби Цвек надеялся, что Билли забрали домой. Однако в следующий раз, когда он вышел от Нормана и направился к автобусной остановке, там уже стояли мать и отец Билли; рабби Цвек замедлил

шаг, решив дождаться другого автобуса: надежды на то, что Билли выписали, разбились, и теперь ему больно было видеть его родителей. Рабби Цвек гадал, куда же упрятали Билли. Догадывался, конечно, но старался не думать об этом. Он беспокоился о Билли точь-в-точь как о Нормане. Отчего-то ему казалось, что жребий у них один, будь то спасение или гибель.

В отсутствие Нормана он очень сблизился с Беллой. И замечал в ней встречную нежность. Они теперь часто смеялись вдвоем. Совсем как в прежние дни, когда была жива Сара, Эстер была дома и Норман здоров. В последнее время, с тех пор как Нормана увезли, он всё чаще думал об Эстер, причем без былой горечи. В глубине души ему хотелось ее увидеть; он не звал ее лишь из уважения к памяти Сары. Брак Эстер сломал Сару. Хотя и не он стал причиной ее смерти. От разбитого сердца не умирают. Но подоспел рак и унес ее жизнь, поскольку Сара умирала с той самой минуты, как увидела письмо Эстер. Ведь той было всего лишь семнадцать, совсем ребенок; с тех пор прошло без малого двадцать лет. Устоял ли ее союз, счастлива ли она в этом браке, не скрепленном даже детьми? Не написать ли ей, подумал рабби Цвек. Он знал, что Белла

общается с сестрой, и был ей за это благодарен. Быть может, приписать строчку к следующему ее письму? Знает ли Эстер о Нормане, хочет ли его навестить? Рабби Цвек решил, что напишет ей письмо. В конце концов, она имеет право знать о брате. Но тут же передумал: ведь этим он предаст память Сары.

Ему было не по себе. Прежде он всегда знал, чем заняться. Сложив с себя обязанности перед паствой, он продолжал изучать еврейскую историю и религию, а если хотел отвлечься, в лавке всегда находилось дело. Но торговля шла вяло, и Белла с подручным прекрасно обходились без его помощи. Раньше в этот час он читал, но в последние недели ему не читалось. Казалось, что-то назревает, но без его участия не может совершиться. Что именно, он не понимал, но безошибочно чувствовал перемены в доме. Отсутствие Нормана, близость с Беллой и неотступные мысли об Эстер.

Он не знал, что делать. Обвел взглядом комнату, и ему впервые показалось, будто вещи Нормана, его одежда, книги, туалетные принадлежности не на своем месте, словно их в спешке убрали сюда, рассчитывая потом подыскать им собственный уголок. Рабби Цвека осенило: он переселит

Нормана из комнаты Сары — точнее, избавит его от матери. Рабби Цвек вернется на брачное ложе, Норман освободится от мучительного наследства. Хорошее начало, подумал рабби Цвек, для Норманова возвращения.

Обрадовавшись, что наконец придумал себе занятие, он встал и принялся за работу. Поднимаясь с кровати, почувствовал, как кольнуло в плечо и медленно сдавило за грудиной, причем боль эта не имела не малейшего отношения к его горю. С ним такое бывало и раньше. В последние недели он не раз чувствовал эту боль. Но она всегда проходила. Рабби Цвек опустился на кровать: поболит и пройдет, подумал он, досадуя, что боль вмешалась в его планы. Боль всегда раздражала его как напрасная трата времени. Он не раз думал о смерти, ничуть ее не боялся, однако в последнее время отгонял подобные мысли. Сейчас, когда жизнь на распутье, то и дело меняется и вот-вот дойдет до точки, он не мог позволить себе умереть. А потому и не обращал внимания на боль. Пока рабби Цвек сидел, она прошла, и на всякий случай он решил выждать еще чуть-чуть. Потом встал и спланировал дальнейшие действия. Лучше выполнять их одновременно, подумал он: взять часть вещей Нормана, отнести в свою

комнатушку, там взять свои и с ними вернуться. Таким образом обе комнаты переменятся постепенно, а он в процессе привыкнет к собственному новому положению.

Он решил начать с одежды и открыл гардероб. Платья Сары по-прежнему висели вперемежку с костюмами Нормана. Один за другим он снял их с перекладины. Рукав Сариного платья забился в карман Норманова костюма — точнее, не забился, подумал рабби Цвек, вытаскивая его оттуда, а специально туда залез. Это срежиссированное партнерство обескуражило его — и совершенно лишило решимости, едва он увидел, что остальные платья и костюмы повторяют этот жест. Он вытащил рукава из карманов и неприятно удивился, до чего ему это противно.

— Ох, пробормотал он, — пора уже разделить их.

Он отнес стопку Норманової одежды к себе в комнату и положил на кровать. Потом собрал свои вещи и отправился обратно. Этот процесс занял у него почти всё утро. Он уносил одежду, книги, бумаги Нормана, стараясь в них не заглядывать, и возвращался с собственными.

По мере того как совершалась перемена, рабби Цвеку становилось легче, и он действовал

увереннее. Последними он перенес расческу и туалетные принадлежности Нормана, и едва он их убрал, как туалетный столик с Саринымиими вещицами обрел приятную узнаваемость. Рабби Цвек заглянул в гардероб, увидел подле Сариной собственную одежду и отодвинул ее в сторону. Оглядел комнату и остался доволен. Он словно наконец вернулся домой.

Утренние заботы утомили его, и он прилег на кровать. Теперь это его кровать, как некогда была их с Сарой, пока та не умерла, а у Нормана есть своя комната, как и должно быть. Плечо снова кольнуло, и ему показалось, что боль, мысли об Эстер, о его доброй Белле и покойной Саре связаны друг с другом. Он прикрыл глаза, дожидаясь, пока отпустит. «Надо успокоиться», — сказал он себе.

Вдруг дверь гардероба, которую он прикрыл неплотно, распахнулась с той стороны, где висели Сарины платья, и точно занавес поднялся перед старым любимым спектаклем: рабби Цвек лежал и разглядывал вещи покойной жены. Каждое платье вызывало у него воспоминания, и он старался не смотреть на те, что связаны с событиями, о которых он предпочел бы забыть. Он задерживал взгляд на лучших платьях, шел-

ковых, цветастых, — свадьба дочери друга, бар мицва, разделенная чужая радость. Он скользил глазами туда-сюда по рукавам, изумляясь тому, сколько всего они воскрешают в памяти. И всякий раз пропускал рукав с кружевной коричневой манжетой — сперва не в силах припомнить, что же с ним связано, а потом с нарастающим беспокойством. Он никак не мог представить себе всё платье. Манжета была достаточно выразительна, и он понимал, что, даже если увидит платье целиком, всё равно не вспомнит — да больше и не хотелось. Он встал, захлопнул дверь шкафа и улегся обратно.

Он ощутил напряжение во всём теле и заметил, что правая рука отчего-то сжалась в кулак. Он не знал, когда это случилось, но подобное напряжение было ему знакомо: оно всегда предшествовало неприятному воспоминанию. Своего рода защитная реакция тела на чувства, вызванные памятью: он словно заранее вооружался. Он и сам замечал, что в последнее время переживает воспоминания с невероятной остротой. Давно позабытые события его жизни — причем, как правило, позабытые намеренно — вспыхивали в голове, обычно из-за какой-нибудь мелочи, услышанного, увиденного, — и он сжимал кулак. Он

вдруг вспомнил, как Норман пытался уехать из дома. Рабби Цвек понятия не имел, почему кулак напомнил ему о том случае, но знал, что рано или поздно эта логика откроется ему.

Норман всерьез задумался об отъезде, едва поступил на юридический факультет. Он мечтал об этом с последнего класса школы, но родители отмахивались. Миссис Цвек приходила в ярость от одной лишь мысли о том, что Норман уйдет из родного дома и поселится незнамо где.

Но вслух ничего не говорила. Возражать ему в открытую значило признать, что она воспринимает его намерение всерьез, а ей меньше всего хотелось, чтобы он так думал. Это просто-напросто сумасбродная, нелепая идея, и она не удостоит ее внимания. Сообразив, что ни мать, ни отец не воспринимают его всерьез, Норман объявил о своих планах.

— Я нашел комнату, — сказал он как-то за ужином.

Миссис Цвек дала мужу и дочерям знак не обращать на него внимания, сопроводив этот жест угрожающим взглядом, в котором ясно читалось, чем грозит ослушание. Это ее личное дело, и не стоит в него вмешиваться.

— Еще супа, Ави? — спросила она.

— Я нашел комнату, — повторил Норман.

— Очень мило, очень мило, — проговорила мать. — Совсем тебе нечем заняться, бегаешь ищешь комнаты. Очень мило. Очень мило.

— Комната очень милая, — передразнил ее Норман.

— Вот и прекрасно, — продолжала миссис Цвек. — Такая ужасная комната у тебя в материнском доме, что тебе пришлось бегать искать себе милую комнату. Очень мило, очень мило, — добавила она. — Ну и радуйся. Ешь давай, — она вдруг прикрикнула на него. — Хватит уже твоих шуточек.

— Это не шутка, — тихо ответил он. — Я уеду в конце недели.

— Езжай, езжай, — взвизгнула миссис Цвек. — Кто тебя держит? Мне прикажешь тебя держать? Мать тебе надоела? Езжай. Хочешь разбить мне сердце? Хочешь разрушить семью? — Она посмотрела на мужа и дочерей, приглашая их вставить слово. — Езжай, — выкрикнула она. — Езжай.

— Я бы хотел уехать с твоим благословением, — пояснил Норман. — В конце концов, пап, что тут такого, — он призвал на помощь отца, отличавшегося меньшей строгостью, — если молодой человек моих лет хочет уехать из дома?

— Благословение ему подавай. — Миссис Цвек была вне себя. — Мало ему того, что он разрушает семью. Я еще благословить его должна. Послушай, мой мальчик, — она погрозила ему пальцем, — я слышать не хочу ни о каких комнатах. И кончим на этом. Ты останешься в этом доме, ты меня понял? Вот женишься, Бог даст, тогда я тебя не держу, — великодушно добавила она. — Тогда будешь жить своим домом и получишь множество благословений. А пока хватит об этом.

Все время, пока они разговаривали, Эстер и Белла молчали. Даже если у них и было мнение по этому поводу, им хватило ума его не высказывать. Белла инстинктивно и нелогично приняла сторону матери. Жизнь складывалась таким образом, что с течением времени она всё больше входила в роль защитницы семьи, и, когда Норман угрожал родительскому покою, она давала брату отпор, какими бы вескими ни были его доводы. Эстер не разделяла столь сильных дочерних чувств. Ее всю жизнь так баловали, так пичкали любовью, что они у нее даже не возникали. Она недоумевала, почему Норману не дают уехать из дома. Она бы только рада была. Он порождал и подпитывал в родителях болезненную любовь и тревогу, так что без него дома станет спокойнее. Каждый ве-

чер, пока он делал уроки, мать стояла у него над душой, хотя ничего не смыслила в его занятиях. Она проверяла и перепроверяла, всё ли он сделал, и ей приходилось верить ему на слово, что всё сделано правильно. Она и не думала ложиться в постель, пока Норман не вернется домой, каждое утро провожала его до автобусной остановки и неизменно умоляла, несмотря на то что Норману уже восемнадцать лет, чтобы он осторожнее переходил через дорогу. Ей ни на миг не верилось, что он проживет и без ее одобрения. Она видела в нем не отдельную личность, а лишь приложение к себе самой. Неудивительно, что она прибегла ко всем имевшимся у нее средствам, лишь бы не дать ему уйти.

Рабби Цвеку желание Нормана казалось логичным, и, если бы решение зависело от него, он бы, пожалуй, сперва заартачился для проформы, а потом, выслушав веские доводы, уступил. Но он знал, что Сару это убьет, и был не в силах ей возразить. Да и Норману не так уж часто удавалось набраться решимости, и даже тогда это была скорее провокация, чем заявление о намерениях. Он понимал, что ему нужно выбраться отсюда. Мать совсем его задавила. Но он боялся — не столько жить в одиночку, сколько того, как его

уход подействует на семью. В последние несколько месяцев мать частенько твердила, что если он уйдет, им всем настанет конец, и он сознавал, что такую возможность нельзя исключить. А ведь был еще и Давид. Скорее всего, они станут видеться реже — это, может, даже и к лучшему. Порой его тревожило, что он так привязан к другу.

— А как же Давид? — спросила мать, будто ей было мало того, что последнее слово и так осталось за нею. — Как ты будешь жить без него? — Она произнесла это таким тоном, словно знала об их отношениях то, чего не знал даже Норман. — Или вы вместе поселитесь в миленькой комнатушке? — съязвила она.

— Хватит, хватит, — пробормотал рабби Цвек, — давайте поедим спокойно.

Остаток ужина прошел в молчании, хотя миссис Цвек всячески демонстрировала, что у нее пропал аппетит. А потом, на случай, если не все догадались, как она относится к происходящему, объявила, что ей нужно лечь.

Какое-то время эту тему не поднимали. Начались летние каникулы, казалось, Норман забыл о своем решении. Впрочем, молчание, облекавшее ныне вопрос, тревожило миссис Цвек куда сильнее, чем обсуждение. Она боялась, что Норман

уйдет, не сказав никому ни слова. Каждый день, когда его не было дома, она заглядывала к нему в комнату в поисках признаков того, что он переехал. Читала его письма — вдруг в них найдется подсказка? — однако же ничего неподобающего в его вещах не обнаружила. Тогда она сшила ему в комнату новые занавески, купила новую настольную лампу и смирилась с мрачным молчанием сына. Но всё равно не успокоилась и, опасаясь, что всё случится внезапно, так что она не успеет вмешаться, снова затронула эту тему.

— Как там твоя милая комната? — спросила она как-то вечером, когда они вместе сидели на кухне.

Рабби Цвек шикнул на нее.

— Мама, — сказала Белла, — не буди лихо, пока оно тихо.

— Что в данном случае «лихо»? — уточнил Норман. — Нет ничего дурного в том, что я хочу переехать. Если тебе и правда интересно, как там моя комната, я тебе отвечу. Но ведь тебе всё равно.

Миссис Цвек взорвалась.

— Какая еще комната? — выкрикнула она. — Ты нашел еще одну комнату?

— Мама, я же тебе говорил, — терпеливо от-

ветил он, — несколько месяцев назад я тебе говорил, что нашел себе комнату и перееду на следующей неделе. — На самом деле он еще не решил, когда именно переберется туда. Переезжать было страшно, и он всё время откладывал. Но мать сама толкала его на этот шаг, и в каком-то смысле он был ей благодарен.

— Перестань нести чушь, — отрезала миссис Цвек. — И не спорь со мной больше. Ты останешься в этом доме.

Рабби Цвек посмотрел на сына. Тот давно перерос их всех. Интересно, подумал он, как Сара намерена его удержать.

— Если я услышу еще хоть слово про эту комнату, я тогда… я тогда…

— Что ты тогда? — дерзнул уточнить Норман.

Но миссис Цвек и сама не знала, что тогда, а потому прикрыла растерянность завуалированной угрозой.

— Не важно, — ответила она. — Увидишь. Больше я тебе ничего не скажу. Увидишь и пожалеешь. Ох как ты пожалеешь. — Она осеклась в надежде, что слова ее возымеют действие.

Норман не воспринял ее угрозы всерьез, но слишком зависел от матери, чтобы вообще пропустить их мимо ушей. Он ушел к себе в комнату.

Миссис Цвек устремилась следом, остановилась у двери и прислушалась. Она ожидала услышать, что сын снимет со шкафа чемодан, но в комнате стояла тишина, а тишина, как и возражения, ее тревожила. Она поделилась опасениями с домашними, однако те ей ответили, что не стоило вновь поднимать эту тему и впредь не нужно даже упоминать об этом, и всё образуется. Однако же миссис Цвек отчаянно боялась, что Норман уйдет. Каждый день она ходила к нему в комнату проверить, не изменилось ли что, потом и вовсе взяла чемодан и спрятала у себя в гардеробе. В глубине души она знала, что не сможет ему помешать, и это тревожило ее больше всего.

Несколько недель спустя вся семья сидела за ужином. О переезде Нормана давно не заговаривали, и миссис Цвек, хоть и заглядывала каждый день в гардероб, чтобы проверить, на месте ли чемодан, немного расслабилась. После ужина Норман, как почти каждый день, отправился к себе, заниматься. Девочки вымыли посуду, миссис Цвек села вязать. Словом, это был обычный семейный вечер, когда все сидят вместе и занимаются каждый своим делом. Разве что вечер выдался очень тихий. Интересно, подумала миссис Цвек, чем занимается Норман, но смотреть не

пошла, опасаясь вызвать скандал. Вместо этого она сходила проверить, на месте ли чемодан, и, довольная, вернулась на кухню. Час был поздний. Рабби Цвек всё читал.

— Ави, — сказала она, — поздно уже. Сходи посмотри, что делает Норман.

— Занимается. Оставь его в покое, — ответил рабби Цвек.

— Белла, сходи посмотри, что делает Норман.

— Оставь его в покое, — повторил рабби Цвек. — Неужели мальчику нельзя побыть одному?

Миссис Цвек не находила себе места. Подождала еще чуть-чуть и встала.

— Я сама схожу, — объявила она.

Рабби Цвек ее остановил.

— Не трогай его, мальчик уже взрослый. Дай ему быть собой, — добавил он так кротко, как только мог. — Ему нужно хоть чуточку независимости. Тогда он не станет кричать, мол, уйду из дома.

Миссис Цвек снова села. Услышав, что дверь Нормана отворилась, она успокоилась и вернулась к вязанию. Добралась до середины ряда, как вдруг пальцы ее словно парализовало. Не поднимая головы, она заметила в дверях его силуэт, и у нее на миг потемнело в глазах. Ее ослепило

пальто, заполнявшее дверной проем. Не решаясь взглянуть Норману в лицо, она уставилась на его ноги: рядом с ним стоял старый чемодан, который она прежде не видела. Она посмотрела на сына, схватилась за сердце и издала один из имевшихся у нее в запасе отрепетированных стонов. Рабби Цвек вперил взгляд в Нормана, жалея, что тот не ушел, когда дома никого не было и останавливать его было некому, раз уж ему так занадобилось уйти.

— Ты куда-то собрался? — тихо спросил он.

— Я ухожу, — ответил Норман. — Я же не навсегда ухожу, — вставил он меж стонами матери. — Я буду вас навещать.

Он и сам жалел, что не ушел не попрощавшись: материнский шантаж лишил его сил. Ничто не мешало ему подхватить чемодан и выйти, но он словно прирос к полу и мысленно клял ее стоны. Наконец мать судорожно вздохнула и произнесла:

— Чего же ты ждешь? Моего благословения ждешь?

Она встала, направилась к нему. Эстер попыталась ее остановить.

— Пусть идет, — прошептала она.

— Еще одна. — Миссис Цвек обернулась к до-

чери. — Или ты тоже подумываешь уйти? Вот видишь, — ликующе крикнула она Норману, — видишь, как разрушается семья? И ты смеешь так поступать с матерью и отцом? Раньше времени сводишь нас в могилу?

Рабби Цвек беспомощно взглянул на жену. Уход Нормана, если рассуждать трезво, способен был разве что огорчить, и то — в самом худшем случае. Никто от этого не умрет. Впрочем, насчет Сары он не был уверен. Вся ее жизнь выстроилась вокруг Нормана — и поглотила его личность. Если он уйдет, что-то в ее душе непременно умрет. В этом не было сомнения. Рабби Цвек посмотрел на Нормана и понял, что тот готов сдаться. Он и рад был бы принять сторону сына, но опасался и впервые за годы брака почувствовал неприязнь к жене. Досадовал он и на собственное бездействие; Белла тоже отстранилась. Лишь Эстер отважилась возразить. Так они и сидели, робкие, безучастные. Сара всех подчинила своей воле.

Рабби Цвек услышал, как Норман произнес: «Ладно, я остаюсь», посмотрел на сына, и его захлестнула жалость к мальчику, унаследовавшему его слабость. Он хотел улыбнуться Норману, но побоялся, что тот увидит в его улыбке торжество победителя. И он взглядом постарался передать,

что понимает, какой ущерб нанесла ему мать. Сара вскрикнула от облегчения, а потом, чтобы дать облегчению выход, замахнулась на сына — отчасти чтобы сбросить напряжение, отчасти чтобы сын впредь и думать не смел о подобном. Рабби Цвек моментально вскочил и остановил ее руку. Обхватил за кисть в манжете и опустил.

Рабби Цвек сел на кровати. Посмотрел на разжавшийся кулак и тут же узнал кружевную манжету на платье. Воспоминание опечалило его. Быть может, тот случай тоже повинен в теперешнем состоянии Нормана. Но кто знает, когда это началось и почему вообще произошло.

Он услышал, как Белла поднимается из лавки, и обрадовался, что уже не один.

15

В ту ночь, первую ночь за долгие годы, проведенные на брачном ложе, рабби Цвек заболел. Сперва он этого даже не понял. Боль в левом плече и области сердца стала такой привычной, что он принял ее как часть неизбежного процесса старения. Вдобавок ему казалось, что, если не обращать на нее внимания, она пройдет без следа. Но тут он испугался. Осторожно передвинул ноги на пустующую часть неожиданно широкой кровати и вдруг остро ощутил одиночество. Думал крикнуть Беллу, но побоялся, что она не услышит его слабый голос. Он лежал не двигаясь, боль нарастала.

Он понимал, что нужно позвать на помощь, и пошевелил губами, выговаривая, как ему казалось, имя дочери, но Белла услышала из своей комнаты сдавленный стон «Сара» и прибежала к отцу. Увидела, что он отчаянно пытается скрыть от нее боль и страх, бросилась звонить доктору и принялась устраивать отца поудобнее, чтобы отсрочить собственную тревогу. Она велела ему лежать спокойно и до самого приезда врача

просидела рядом, блюдя его неподвижность. С волнением смотрела, как доктор осматривает отца, и старалась не думать, что будет, если отец умрет. Белла винила в случившемся Нормана и ту давнюю боль, которую причинила родителям Эстер. Однако Белла понимала, что именно ей, той, кто всю жизнь стерегла их душевный покой, именно ей суждено больше всех мучиться угрызениями совести.

Доктор расстегивал на отце пижаму, и Белле вдруг сделалось неловко. Она заботилась о нем, ухаживала за ним одетым, но обнаженный он превращался в мужчину, ее отца, и она вышла из комнаты из уважения к его праву на тайну. Ждать в коридоре ей пришлось долго. Наконец появился доктор, и Белла спросила шепотом:

— Как он?

— У него был небольшой сердечный приступ, — ответил доктор Джейкобс. — Сейчас он спит и, если будет себя беречь, непременно поправится. Но он должен очень себя беречь. Минимум месяц постельный режим. Вообще не вставать. Следующий приступ может быть гораздо хуже. Кстати, сколько лет вашему отцу?

Белла никогда не задумывалась, сколько лет ее родителям, а потому могла только догадываться

о возрасте отца. О прожитых годах спрашивают, лишь когда человек при смерти: друзья оценивают, достаточно ли он пожил, а доктора невозмутимо приписывают его уход естественным причинам.

— Вы сумеете о нем позаботиться? — спросил доктор Джейкобс. — Ему потребуется круглосуточный уход. Я, конечно, могу отправить его в больницу, но, учитывая, что вы сейчас ездите к Норману, у вас совсем не останется времени.

— Я попрошу тетю Сэди, — ответила Белла.

Доктор Джейкобс помнил тетю Сэди со времен смертельного недуга миссис Цвек. Его пугали ее сноровистость и сердечность, однако же он согласно кивнул.

— Если тетя Сэди согласится, то, конечно, лучше, чтобы за ним ухаживал кто-то из родных.

После всего, что случилось с Норманом, Белла считала иначе, однако же спорить не стала.

— Кстати, как дела у Нормана? — спросил доктор Джейкобс.

— Ему лучше, — ответила Белла; бессмысленная фраза. Белла уже не понимала, что лучше, что хуже для самого Нормана.

— Очередное беспокойство для вашего отца, — сказал доктор Джейкобс. — Как вы думаете, скоро

его выпишут?

— Еще три недели, а там как решат врачи. Я ничего не знаю, — промямлила Белла.

— Что за скверная история с Норманом. А вы всегда были такой хорошей дочерью, — заметил доктор Джейкобс.

От его сочувствия Белле стало еще жальче себя и отчего-то захотелось уйти.

— Он правда поправится? — спросила она. — Я имею в виду отца.

— Как я и говорил, если не будет перенапрягаться, непременно поправится. Но в лавке ему больше работать нельзя, да и в целом нужно себя поберечь. Вот рецепт. Я написал, что делать. Завтра утром зайду.

Белла проводила доктора, радуясь, что отец спит. Ей нужно было время, чтобы понять, как при отце относиться к его болезни. Она подумала позвонить Норману, написать Эстер, но то и другое было бессмысленно, и в Белле, как прежде, вскипела злость, что приходится в одиночку нести это бремя. Разумеется, была еще тетя Сэди, но та, несмотря на всю свою доброту, получала удовольствие от чужой болезни. Вдобавок Белла недолюбливала тетю Сэди, потому что видела свое сходство с ней. Обе семейные праведницы, к

которым из-за их достоинств относятся с подозрением, которыми вечно пользуются и на которых сердятся за то, что из-за них прочие члены семьи чувствуют себя виноватыми, поскольку не исполняют свои законные роли. Но так она хотя бы не останется один на один с отцом, и Белла обрадовалась, поскольку, столкнувшись с его болезнью, таким телесным и таким интимным делом, она вдруг стала его робеть. Да, всё-таки хорошо, что тетя Сэди приедет.

Сэди была свояченица рабби Цвека, младшая сестра Сары. Она никогда не была замужем. Брачные годы ее пришлись на Великую войну[21], в течение которой Сэди училась на сестру милосердия и на добровольных началах трудилась в госпиталях. Многие молодые люди добивались ее руки, но для нее не было ничего важнее службы. После окончания войны она продолжила работать: нанималась в частные сиделки. Она с головой погрузилась в работу, не замечая, что шансы выйти замуж потихоньку тают, и лишь когда другие окончательно вынесли ей приговор сочувственными фразами — «жаль, что ты так и не вышла замуж», — Сэди осознала, что рассчи-

[21] Примечания: 21
То есть Первую мировую.

тывать больше не на что.

Но Сэди ничуть не походила на старую деву. С первого же взгляда на ее сберегательную книжку становилось ясно, что в жизни ее есть и другие занятия помимо профессиональных. Точнее, эти другие занятия имели косвенное отношение к профессиональным, поскольку граница между профессиональным и личным иногда очень кстати бывает тонка. Ей частенько завещали средства «в память о внимании и заботе» старые вдовцы, которые умирали у Сэди на руках — вернее, в ее объятиях. В общении с пациентом рано или поздно наступает момент, когда купаешь и кутаешь его в одеяло уже не совсем как сиделка; да и кто лучше Сэди сумел бы согреть последние дни умирающих.

К рабби Цвеку Сэди пришла в белом пальто. Оно придавало ей уверенности, вдобавок Сэди надеялась, что оно вселяло уверенность и в пациентов.

— Ну и где тут наш неслух? — С этими словами она протопала в комнату рабби Цвека.

Он не спал, выглядел бодро и очень ей обрадовался. Сэди села на кровать, взяла его за руку, он гладил ее ладонь, удивляясь, что так счастлив ее видеть. Она совсем не походила на Сару, а потому

и не вызвала у него тревожащих воспоминаний. Сэди чмокнула его в лоб.

— Съезди к Норману, — попросил он.

— Ави, я приехала ради тебя, — отрезала Сэди. — Чтобы за тобой ухаживать. Чтобы ты поправлялся. Вот когда тебе станет лучше, тогда и съезжу к Норману. Ты так за него волнуешься, — добавила она, — неудивительно, что заболел. Ты нужен Норману, ты нужен Белле, ты нужен мне. Ради всех нас ты обязан поправиться.

— Ты писала Эстер? — прошептал он.

— Поверь мне, — ответила тетя Сэди, — ей ты тоже нужен. Но я боюсь упоминать ее имя. У нее всё благополучно. В каждом письме справляется о твоем здоровье. Умоляю тебя, Ави, как поправишься, повидайся с ней, позволь Эстер прийти домой.

Он вздохнул.

— Я же обещал Саре, — напомнил он.

— Сара, упокой Господи ее душу, поймет. Но сперва нам нужно, чтобы ты встал на ноги, — сказала Сэди.

В следующие дни они с рабби Цвеком практически не разговаривали. Сэди и Белла сидели возле него, иногда читали вслух. Шли недели, он набирался сил и становился всё невыносимее

как пациент. Он уже чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы подняться. Он робко предложил всем вместе навестить Нормана, поскольку он непрестанно думал о сыне и боялся, что тот скучает по отцу, тревожится за его здоровье. Однако Сэди и Белла не позволяли ему выйти из комнаты. Они предлагали ему поговорить с Норманом по телефону, но рабби Цвек отказывался — не хотел, чтобы у Нормана появились подозрения. Если уж звонок Норману не слишком его утомит, почему же нельзя съездить, повидаться и успокоиться. Но они запрещали, хотя и понимали, что тревога за Нормана мешает выздоровлению. Обе тянули время, рассчитывая, что либо Нормана выпишут, либо рабби Цвек окончательно поправится.

Через месяц доктор Джейкобс разрешил ему проводить несколько часов в день на стульчике на балконе и выходить к столу. Белла снова с утра до вечера пропадала в лавке, и большую часть дня рабби Цвек оставался вдвоем с Сэди. Ему всё время хотелось говорить о Нормане, и Сэди не возражала, потому что эти разговоры в каком-то смысле заменяли ему встречу. Рабби Цвек снова и снова пересказывал ей всю историю — таблетки, галлюцинации, больница и их последующие визиты. Он рассказал ей о Билли,

снова и снова задавая себе и ей вопрос, за что людям такие страдания. От разговоров с Сэди ему становилось легче, потому что она не лезла к нему с советами и никого ни в чем не винила, только сочувствовала и повторяла, что Норман непременно поправится. Устав обсуждать Нормана, они говорили о семье, детстве Сары, Сэди вспоминала о матери, об отце, которого рабби Цвек знал и любил. Он тоже рассказывал ей о жизни — начинал с настоящего, которое мучило его сильнее, и постепенно с облегчением добирался до прошлого. Мало-помалу рабби Цвек набирался сил. Он стремился выздороветь лишь для того, чтобы съездить к Норману.

16

В последние недели Министр вел себя престранно. Так сказать, непрофессионально. Выдавал Норману запас на неделю вперед, а не на день, как раньше. Норман заметил, что министру здравоохранения так поступать негоже, на что Министр ответил, мол, ему проще подводить итог раз в неделю. Казалось, дело его набирает обороты. Министр намекнул, что у него масса клиентов, буквально в каждом из корпусов лечебницы, в общей сложности человек двадцать пять, торговля ширится, того и гляди, кто-нибудь захочет ее отобрать.

Норман понятия не имел, где Министр хранит запасы и откуда они берутся, а спрашивать было бы неэтично. Регулярно, дважды в неделю, к Министру приходил посетитель, каждый раз новый. Он называл их «кузенами»; Норман догадывался, что это курьеры, потому и меняются — для безопасности. Оставалось понять, где именно в лечебнице Министр держит запас. Пациентам дозволялось свободно перемещаться из корпуса в корпус, а также в столовую и мастерские. Ми-

нистр мог спрятать таблетки где угодно. А новая система еженедельной выдачи поставила перед Норманом вопрос, где их хранить. Он не боялся, что поддастся искушению и уничтожит запас за один присест. Воспоминания о днях без белых были достаточно живы, чтобы его остановить. Однако ж нужно было подыскать тайник. С этой проблемой он обратился к Министру.

— Наверняка вы знаете надежные места, — сказал он. — Быть может, что-то посоветуете?

Министр подмигнул.

— Не сердитесь, дружище, — ответил он. — Это строгий секрет. Вы забыли, что я член кабинета. А вы хотите, чтобы я раскрыл вам конфиденциальную информацию.

Норман понял, что с этой стороны он помощи не дождется. Прошелся по палате, но все трещинки и закоулки отлично просматривались. Ни в железной раме кровати, ни в белье ничего не укроешь. Он подумал, не спрятать ли на себе, но в таком месте, как больница, тело более, чем всё остальное, было у всех на виду. Тогда он решил зашить мешочек с таблетками в стеганое покрывало — если, конечно, удастся найти иглу, — но все покрывала были неотличимы одно от другого, и, когда меняли белье, их запросто могли

перепутать. Норман укутался в халат, оглядел себя, силясь найти решение. Халат больничный, однако он был единственной казенной вещью, которая принадлежала только ему. Норман сел на кровати, рассеянно пощупал край халата. Загиб достаточно широк, вдобавок идет по всему подолу, и в нем вполне можно спрятать месячный запас так, что тот не оттянет полу и не стеснит движений. Норман с деланой рассеянностью принялся теребить шов. Через несколько минут ему удалось расковырять дыру, куда он и спрятал три целлофановых пакетика. Засунул в самый угол полы, расправил, встал и посмотрел, не заметно ли. Пакетики не выпирали. Норман подошел к кровати Министра. Его халат валялся на покрывале. Норман ощупал загиб, но там было пусто, и он снова задался вопросом, где же Министр прячет запас.

Стояло раннее утро, но пациенты уже высыпали во двор. Норман вышел из корпуса. День выдался погожий, и всё вокруг дышало благополучием: такое подчас бывает даже в больнице. Впрочем, нередко такие дни оканчивались грозой, и порой она бушевала в палате. Тем утром Норману сразу по пробуждении показалось, будто он снова видит *их*, но наверняка было не

понять — то ли *они* рассеивались на глазах, то ли *их* просто было мало. Однако же, несмотря на это, его тоже охватило чувство благополучия: ведь теперь у него был недельный запас, а понадобится, так будет и еще, вдобавок Норман гордился, что так ловко припрятал таблетки. Он подошел к сидящему на лужайке Министру.

Близких друзей в больнице у Министра не было. Он не играл в шахматы, лишь изредка в пинг-понг. Читал мало, дни напролет сидел и смотрел в пустоту. Пациенты не отваживались его беспокоить, а поскольку везде, где собирались три и более человека, ему чудились заседания кабинета министров, с ним никто особенно не общался. Он наизусть барабанил давние протоколы, помнившиеся ему по предыдущим заседаниям, которых никогда не было, потом спрашивал и рассказывал о повестке дня, обращался к собравшимся, задавал вопросы, выражал и получал благодарность. И всё это независимо от того, о чем говорили другие. Включившись в этот процесс, выпутаться было невозможно, поскольку, хоть сумасшествие, за исключением собственного, штука чудовищно скучная и однообразная, оно тем не менее требует к себе уважения. Нельзя взять и уйти от чужого безумия. Приходится тер-

петь, улыбаться и думать про себя: этим психам место в изоляторе. Так что Министр, как правило, был один, и тот, кто вздумал бы к нему присоединиться, понимал, чем ему это грозит.

Норман всё равно направился к Министру. Тот сидел в шезлонге. На нем по-прежнему была пижама, а поверх нее старенький домашний шерстяной халат в дырках от сигарет. Министр кутался в халат. Норман взглянул на край его подола, но отметил, что загиб узкий и вдобавок распорот практически по окружности. Он, как всегда, был в ботинках — больничных тапок он не признавал, — словно эти ботинки доказывали: перед вами королевский министр. Черной кожи, выше щиколоток, начищенные до блеска, с торчащими сзади петельками, за которые то и дело цеплялись края пижамных штанин. Норман взял шезлонг и уселся рядом с Министром.

— Ну как, решили свою проблему? — шепотом спросил тот.

Министр шептал лишь тогда, когда не был Министром. В роли руководителя службы здравоохранения он разговаривал громко и уверенно. В качестве же рядового гражданина, чьего настоящего имени Норман так и не узнал, шептал печально и робко.

— Да, я нашел место, — ответил Норман.

Министр не стал допытываться, где именно. Сидел и смотрел в пустоту. Норман почувствовал, что его что-то тревожит.

— Что-то случилось? — уточнил он.

— Она приезжает. Она приедет сегодня днем, но, если она посмеет хотя бы приблизиться к моей кровати, я, черт подери, сломаю ей спину.

«Она» могло относиться только к его матери.

— Это же всего около часа, — сказал Норман, не придумав иного утешения, кроме того, что любые передряги рано или поздно заканчиваются.

— Пусть даже не вздумает ко мне подходить, — снова пробормотал Министр.

— Чем же она вам не угодила? — спросил Норман и тут же пожалел: слишком личный вопрос для этого заведения. Здесь тела пациентов выставлены на всеобщее обозрение, как и их психические расстройства, но это не значит, что нужно проявлять любопытство. Довольно того, что струпья и шрамы у всех на виду: всё, что за ними скрывается, пусть будет единственной тайной, которая здесь остается. — Не важно, — поправился Норман. — Я просто так, к слову.

— По-хорошему, посетителей должны бы обыскивать, — крикнул Министр, снова превра-

тившись в сановника. — Неизвестно, что эти ублюдки приволокут на себе. Как прикажете поддерживать чистоту, ежели всякий сброд шастает по моим полам туда-сюда, туда-сюда, — добавил он с запальчивостью уборщицы. — Неизвестно, что они приволокут на себе.

Норман устал от тирады Министра, ему хотелось, чтобы тот вышел из чиновной роли.

— А он тоже приедет? — уточнил Норман. — Я имею в виду, ее новый муж.

Но Министр никак не желал покидать свой пост.

— Я пытался не допустить его на собрание, — крикнул он, — но старая корова проголосовала за его участие. Демократия, говорит. Как же! Этой стране нужна диктатура. Будь по-моему, никто бы не приперся поганить это место. И тут было бы единственное здоровое место в мире. Да, он приедет, — продолжал Министр. — Оба припрутся, как к себе домой. Она с головы до ног в коровьих лепешках, а у него в каждом глазу по елде.

Его трясло от страха и злости. Ни слова не говоря, он поднялся и вернулся в помещение. Норман проводил его взглядом, потом последовал за ним. Встал у двери палаты. Министр стоял возле умывальника. Норман смотрел на него,

считал стаканы воды, которые Министр вливал в себя. Всего выходило четырнадцать. Казалось, он стремится не утолить жажду, а очистить душу от материнской скверны. После четырнадцатого стакана Министр отошел от умывальника. Сделал несколько шагов, засомневался и вернулся. Еще четыре стакана. Потом пожал плечами, словно осознав мучительную тщету своих усилий, и поплелся к кровати, шаркая большими ботинками.

Норман вернулся во двор. Подошел к своему шезлонгу, чуть отодвинул соседний, в котором сидел Министр, чтобы избавиться от ощущения, будто тот до сих пор здесь. Министр ему нравился, но и раздражал, как всякий, от кого целиком зависишь. Норману не хотелось о нем думать, но выкинуть его из головы оказалось не так-то просто. Эпизод с питьем вызвал у него тошноту; лучше бы он никогда этого не видел. Он вспомнил, как Министр, подволакивая ноги в больших ботинках, поплелся прочь от умывальника: это зрелище тронуло его непередаваемо. Казалось, над Министром с самого рождения тяготеет злой рок, и сегодня более, чем когда-либо, ощущение обреченности передалось Норману, а пробивавшийся сквозь листву яркий солнечный

свет и омерзительное добродушие пациентов, подшучивавших над собственным незавидным положением, лишь усиливали это чувство. Норман зажмурился, но солнце и смех жалили сквозь закрытые веки. Он уткнулся лицом в парусину шезлонга. Она горячила щеку, но успокаивала и заслоняла от света. Интересно, как там отец, подумал Норман. Последние недели он старался не вспоминать об этом. Они не виделись минимум месяц. Белла выдумывала отговорки. То ехать слишком долго, то слишком тяжело, то отец слишком занят. Норман напрямую спросил, не заболел ли отец, Белла вяло возразила, и он догадался, что она врет. Досаднее всего было не то, что отец болеет, а то, что его состояние скрывают от Нормана, словно он чужой, изгой в родной семье, которому их не понять. Что, если его всегда считали чужим, подумал Норман, и кто избрал ему эту роль — родители с сестрами или же он сам так себя поставил? Он беспокоился об отце. Он уже не сомневался, что отец нездоров и не приезжает именно поэтому, а вовсе не из-за долгой дороги или занятости в лавке. Норман вдруг представил, что никогда больше не увидит отца, и содрогнулся от ужаса.

Он вскочил и вернулся в палату. Увидел, что

Министр спит, порадовался за него и пожалел, что сам бодрствует. Взял деньги из своего шкафчика и пошел в коридор к телефону. Он знал, что утром ему никто не ответит. Отец и Белла наверняка внизу, в лавке. Однако нужно удостовериться, всё ли дома благополучно. Он вдруг почувствовал ответственность за семью. Ему захотелось заботиться обо всех, даже об Эстер, чье имя он теперь мог произнести без горечи. Его отчаянно потянуло домой, и он выругал белые, которые держат его здесь.

Норман набрал номер и рассеянно повесил трубку на палец, ожидая услышать подтверждение, что никого нет дома. Однако, к его ужасу, ответила женщина, судя по всему, медицинский работник; голос показался ему смутно знакомым.

— Алло! — крикнул Норман. — Ради бога, кто это? — Его оскорбило присутствие в доме посторонних, знакомый же голос вызвал тревогу.

На том конце провода повисло неловкое молчание, потом раздался смущенный смешок.

— Твоя старая тетя Сэди, — ответил голос.

От страха у Нормана екнуло сердце. Раз появилась тетя Сэди, значит, пиши пропало: она перемещалась от умирающего к умирающему и,

как бабочек, ловила последние хрипы.

— Что ты там делаешь? — завопил он.

— В гости приехала, — невинно ответила она, но вышло так же неубедительно, как если бы в гости к ним вдруг решил заглянуть гробовщик.

— Папа заболел? — прошептал Норман. Он должен знать правду.

— Как заболел, почему заболел? — делано удивилась тетя Сэди, повторив это слово дважды, словно неопытный лжец. — С чего бы твоему отцу болеть?

— Тогда дай мне с ним поговорить.

— В лавке он, с Беллой, — уже увереннее выпалила тетя Сэди.

— Что ты там делаешь? — не унимался Норман.

— В гости приехала, — отрезала тетя Сэди. — Хочешь, навещу тебя?

— И давно ты приехала? — робко уточнил Норман.

— Вчера, — ответила тетя Сэди.

— Надолго?

— Посмотрим, — сказала она.

— На что посмотрим? — Норман повысил голос.

— Пока не надоем, — рассмеялась она. Поди

пойми, что имелось в виду.

Теперь, когда выяснилось, что тревога его небеспочвенна, Норман решился бежать из больницы, вернуться домой и своими глазами увидеть, что происходит.

— Белла сегодня приедет? — невзначай поинтересовался он.

— Едва ли. Терри заболел, и в лавке полно дел.

— А папа?

— Он подустал. Все-таки путь неблизкий. Да и ты, Бог даст, скоро вернешься домой. Недели две-три, говорят. — Тетя Сэди старательно уводила разговор от посещений.

— А ты приедешь? — Норман вернул ее к прежней теме.

Тетя Сэди снова замялась, но потом ответила:

— Я побуду тут, помогу твоему отцу. В лавке, — добавила она.

— Он заболел, так ведь? — тихо проговорил Норман.

— Да почему заболел-то? С чего бы ему болеть?

— Не важно, — ответил Норман.

И положил трубку. Теперь он точно знал: надо выбираться отсюда. Что, если отец умирает, испугался Норман и наскоро помолился о том, чтобы застать отца в живых. Он вернулся в палату. Ухо-

дить до обеда нет смысла. Он не успеет скрыться: его хватятся и в два счета привезут обратно в больницу. Значит, надо дождаться времени посещений. Тогда в суматохе — одни приходят, другие уходят — можно ускользнуть незамеченным. Но как быть с одеждой? Отец с Беллой так и не привезли ему вещи, и прежде это его не смущало. Норман подумал, не позаимствовать ли костюм Министра, пока тот спит, но Министр крупнее и выше, костюм будет велик. Да и брезговал им Норман: вдруг заразится министерским отчаянием? Он сел на кровати. Положение сложилось безвыходное. Нельзя же при свете дня расхаживать по улицам в пижаме и рассчитывать, что тебя не заметят. Придется дождаться наступления темноты. Тогда он выйдет из палаты якобы в уборную и вылезет в окно в коридоре. И пойдет домой — может, даже отважится поймать попутку, если до ночи придумает правдоподобную историю для водителя. Норман остался доволен своим решением: неотступная тревога за отца и отчаянная необходимость его увидеть затмили возможную опасность. Он вообразил себе тетю Сэди в квартире, отца с Беллой в лавке. Вряд ли тетя Сэди осталась бы одна в квартире, да и отца в лавке он как-то не представлял. Норман уже не

чаял дождаться вечера.

Он вцепился в кровать, уставился в пол. *Они* снова вернулись. *Их* было немного, но достаточно, чтобы заявить о себе. Чуть погодя *их* наверняка станет больше. Чего еще ждать в такой грязище. Скорей бы домой. За прочими треволнениями он и забыл, какой бардак оставил у себя в комнате. Норман на миг растерялся: что он здесь делает и какой такой у него недуг, что его заперли вместе со сборищем психов? Он принюхался: появился ли *их* запах. Но воздух был чист, как прежде, и тело его не зудело. Норман поднял глаза, уставился перед собой. Солнце било в окна и, точно прожектор, подсвечивало висящие в воздухе пылинки.

— Неужели нельзя, черт возьми, поддерживать чистоту? — всхлипнул Норман. Он боялся, что *они* хлынут стаями, заползут на него, прежде чем он успеет выбраться отсюда и повидаться с отцом. Не может же он делать два дела одновременно. О том, где взять одежду, ему было страшно думать, и он молился, чтобы поскорее наступил вечер.

— Боже милостивый, — шептал Норман, — не забирай его, и я обещаю, что брошу таблетки.

В дверях палаты показался медбрат.

— Норман, — окликнул он. — Вас к телефону.

Норман хотел встать, но страх приковал его к

кровати.

— Он умер, — прошептал он еле слышно и оглядел палату. Она была почти пуста. Только Министр свернулся унылым клубком на кровати. Нормана охватила ярость при виде спящего. Ведь тот понятия не имел о его страданиях.

— Министр! — заорал Норман.

От неожиданности Министр подскочил, решил, что к нему пришли, в страхе слетел с кровати и ринулся к двери. Норман заметил, что спал он в ботинках.

— Норман, — снова позвал медбрат. — Вас к телефону.

— Кто спрашивает? — прошептал он.

— Кажется, ваш отец.

От облегчения и благодарности у Нормана полились горячие слезы. Он бросился к телефону.

Едва тетя Сэди договорила с Норманом, как рабби Цвек слабо крикнул:

— Кто звонил?

Говорить ему было трудно, и тетя Сэди поспешила к нему в комнату.

— Ошиблись номером, — весело ответила она.

— Ты так долго разговаривала с тем, кто ошибся номером? — пробормотал рабби Цвек.

Оправдываться она не стала, а говорить, что

звонил Норман, не хотела, чтобы не расстраивать больного. На миг она даже рассердилась на Нормана: совсем отца не щадит! Тетя Сэди принялась взбивать рабби Цвеку подушки, но он схватил ее за руку:

— Это ведь Норман звонил, да?

Она кивнула.

— Он волнуется, что я не приезжаю. Он знает. Я должен с ним поговорить, — решительно произнес рабби Цвек. — Будь добра, принеси телефон.

Но тетя Сэди была непреклонна. Не в том он сейчас состоянии, чтобы разговаривать с Норманом.

— Нет, — возразила она. — Тебе сейчас и так тяжело. Незачем лишний раз волноваться. Подожди неделю-другую, поправишься и поедешь его навестить. А может, Бог даст, к тому времени он сам вернется домой.

— Сэди, — взмолился рабби Цвек, — мальчику и без того хватает беспокойства, не нужно, чтобы он еще беспокоился за отца. Будь добра, принеси телефон. Мне надо с ним поговорить.

Тетя Сэди вместо ответа принялась наводить порядок на уже прибранном туалетном столике.

— Сэди, — сказал рабби Цвек. — Ты уже вытирала там пыль. Как я могу быть спокоен, если мой сын беспокоится. Мне сейчас беспокоиться ни к

чему. Я с ним поговорю, и мне станет легче. Будь добра, принеси телефон.

— Ну хорошо, — сдалась она наконец, — но, чур, недолго.

— Просто чтобы он знал, что я жив, — пояснил рабби Цвек и улыбнулся выходящей свояченице.

Тетя Сэди принесла из коридора телефон. Длины шнура хватило только до двери комнаты. Она помогла рабби Цвеку встать с кровати, усадила его на стул и укутала одеялом. Набрала номер, протянула ему трубку и вытерла ему лоб своим носовым платком.

— Будьте добры, это больница? — спросил рабби Цвек. — Мне нужно поговорить с Норманом Цвеком. — Он с вызовом и достоинством произнес имя сына, выдавил улыбку, чтобы голос звучал радостно. В ожидании прижал трубку к уху, жадно ловя звуки Норманова обиталища. Услышал, как стихли чьи-то шаги, как зазвенели столовые приборы. Потом последовала долгая тишина, которую нарушил лишь далекий крик: кого-то окликнули по имени. Отзвук имени в трубке вызвал у рабби Цвека волнение, и не только потому, что вопль вышел пронзительный, но и потому, что голос показался ему смутно знакомым. Зашаркали чьи-то подошвы, и снова

повисла тишина. Пот капал со лба рабби Цвека, он весь дрожал.

— Вот видишь, тебе это вредно, — беспомощно заметила тетя Сэди.

— Подожди, подожди, — возразил рабби Цвек. — Наверное, он спит.

— И пусть спит, — с нескрываемой злобой ответила тетя Сэди. — Тебе тоже надо поспать.

— Долго что-то, — пробормотал рабби Цвек.

— Давай я подержу.

Но он не отдал ей трубку. Ему хотелось слышать каждый звук, сопровождающий путь Нормана из палаты к телефону.

Наконец Норман дошел до телефона, поднес трубку к уху и услышал, как отец дышит.

— Папа? — тихонько спросил он.

— Норман. Норман. С чего ты взял, что я заболел? Кто сказал? Тетя Сэди прибегает в лавку. Рассказывает мне такое. Вдруг ни с того ни с сего я, видите ли, заболел. — Он рассмеялся, довольный своей выдумкой, кивнул тете Сэди, и она тоже одобрительно кивнула ему.

— Ты ко мне почти месяц не приезжал, — сказал Норман. — Что с тобой?

Рабби Цвек замялся.

— Я в лавке, — весело произнес он, — от покупа-

телей отбоя нет. А к тебе ездит Белла. Вернешься домой, вот и повидаемся.

— Что там делает эта сука?

Рабби Цвек притиснул трубку к уху, но тетя Сэди всё равно услышала словцо и пожала плечами.

— Отпуск, — произнесла она одними губами.

— Отпуск, — практически выкрикнул рабби Цвек. — Вообрази, — добавил он, — твоя тетя Сэди взяла отпуск. — Он хихикнул.

— И где она сейчас? — спросил Норман.

— Внизу. В лавке. Я побежал звонить тебе. Она с Беллой.

— Почему ты ко мне не приезжаешь? — снова спросил Норман.

Рабби Цвек вздохнул.

— Сказать по правде, — начал он, и это была полуправда, — мне тяжело. Ехать долго, да и место неприятное.

— Думаешь, мне тут нравится? — проговорил Норман. — Тут жуткая грязища. Уж могли бы хоть иногда вымыть пол. *Они* тут кишмя кишат.

Тетя Сэди заметила, как рабби Цвек побледнел.

— До свидания, до свидания, — тревожно прошептала она.

Рабби Цвека охватила беспомощность. Он недоумевал, почему симптомы Норманова недуга

вдруг ни с того ни с сего вернулись. Он не нашелся что ответить и нервно засмеялся. Но на душе у него было тяжело, и щипало глаза.

— Ничего смешного, — разозлился Норман. Страх за отца утих, и он снова вспомнил извечную свою тревогу. — Все жалуются, — продолжал он. — Один пациент даже взбунтовался. Не ложится в кровать, потому что простыни грязные. Всю ночь сидит на стуле. Может, я к нему присоединюсь. — Этого аргумента Норману показалось недостаточно: нужно было придумать что-то более веское. — Если они не примут никаких мер, взбунтуется вся чертова палата!

Рабби Цвек поморщился. Ему хотелось бросить трубку и расплакаться. Он на мгновение рассердился, что сын вынужден обитать в такой грязи, и решил написать гневное письмо руководству больницы. Он охотнее поверил бы Норману, чем признал, что тот нездоров. Но рабби Цвек понимал, что грязные простыни — такая же выдумка, как серебристые рыбки. А потакать безумию Нормана он не мог.

— Все образуется, — слабо проговорил он. — Вот увидишь, через несколько дней всё образуется. Через несколько дней я приеду тебя навестить. А теперь иди ляг. Тебе нужно поспать.

— Господи Иисусе, — воскликнул Норман, — ты всё о том же. Почему бы вам просто не усыпить меня, да и дело с концом.

— Норман, Норман, — взмолился рабби Цвек.

— Папа, — тихо ответил Норман, — забери меня отсюда.

— Я приеду. Я приеду. Через несколько дней я приеду, — пообещал рабби Цвек. — Я всё улажу. Я поговорю с доктором. Тетя Сэди меня зовет, — нашелся он наконец, поскольку продолжать было невыносимо. — Мне надо идти. Через несколько дней я приеду к тебе.

— Если хочешь, — беспомощно отозвался Норман. — Скажи Белле, чтобы привезла мне одежду, — добавил он, уверившись, что дома ничего не стряслось, у него просто разыгралось воображение, а значит, и бежать незачем. Но костюм никогда не помешает.

— Я ей скажу, — пообещал рабби Цвек. — Она завтра приедет. Береги себя, — добавил он. — Скоро увидимся.

— Не волнуйся, пап, — сказал Норман. — До свидания.

Рабби Цвек положил трубку и осел на стуле.

— Я же тебе говорила — не нужно звонить. Вон ты как расстроился.

— Он всё тот же, — простонал рабби Цвек. — Точно тот же. Тогда что они там делают? — с горечью добавил он. — Ну, хотя бы за меня он больше не беспокоится. Уже что-то.

— Тебе нужно поспать, — сказала тетя Сэди. — Тебе нужно отдохнуть. Не будешь отдыхать — не поправишься. Идем. Я уберу подушки.

Она помогла ему лечь в постель. Рабби Цвек взял ее за руку.

— Сэди, — произнес он, — я очень долго думал. Да, я обещал Саре, упокой Господи ее душу. Но я не вечный. Я это понимаю. Бедная Сара не понимала. Думала, что поправится. Помнишь, как мы планировали отпуск? Бедная Сара. Но я-то всё понимаю. Сколько я еще проживу, Сэди? Один приступ уже был, вдруг будет другой?

— Не говори так, — возразила Сэди.

— Послушай. — Он стиснул ее руку. — Я вот что думаю. — Он примолк, выпустил ее кисть и уронил руку на пуховое стеганое одеяло. — Я хочу видеть мою Эстер.

Тетя Сэди обрадовалась его желанию; жалко лишь, что ему понадобилось заболеть, чтобы оставить свою гордость, подумала она.

— Я напишу ей, — пообещала тетя Сэди. — Ты поспи, а я напишу ей записку. И она скоро придет.

Будет тебе радость. — Она улыбнулась и укрыла его до подбородка.

— Ты так добра ко мне, Сэди, — сказал он. — Я посплю.

Она тихонько прикрыла дверь. Она немедленно напишет Эстер. Сэди молилась, чтобы та застала отца в живых.

Когда Норман вернулся в отделение, уже накрывали обед. Есть ему не хотелось; белые всегда отбивали у него аппетит. Но притвориться, будто он ест, было необходимо, чтобы медбратья ничего не заподозрили. Иногда им с Министром удавалось переложить свои порции на тарелки других пациентов, которые хоть и лишились всего остального, однако же не утратили примитивного, грубого аппетита. Министр всё еще спал. Медбрат окликнул его, и Норман подошел к его кровати. Он хотел разбудить его мягко, поскольку знал, какие страхи сопровождают его пробуждение.

— Министр, — прошептал он, — пора обедать.

Он произнес это, чтобы Министр не подумал, будто его будят с какой-то другой целью. Министр повернулся к нему. Он уже проснулся и со страхом ждал грядущего визита. Министр устало поднялся с кровати.

— Почему вы спите в ботинках? — спросил Норман.

— Меня могут в любой момент вызвать на совещание, — ответил он. — Да и они всё равно чище здешних кроватей.

Норман был полностью с ним согласен. Он помог Министру надеть халат. Оба чувствовали свою схожесть. Неожиданно Министр приобнял Нормана за плечи и усадил рядом с собой на кровать.

— Послушайте, — прошептал он. — Никому другому я этого не сказал бы, но, по-моему, мы оба психи. Все уверяют, будто здесь чисто, мы же с вами видим собственными глазами, какая тут грязища, значит, рехнулись либо они, либо мы.

— Идемте обедать, — ответил Норман. Его не раз одолевали схожие сомнения, но он не намерен был им поддаваться — и не хотел, чтобы Министр еще сильнее его заморочил.

Министр не шелохнулся.

— Лучше бы я умер, — прошептал он. — Хватит с меня. Хватит с меня этого паршивого кабинета. Скопище недоносков. Никто уже меня не слушает. И вас тоже чокнутым считают. Что толку. — Он завязал халат. — Только и остается, что откинуть копыта, — добавил он, — и даже это будет при-

надлежать моей паршивой мамаше. Должно же в этой забытой богом дыре быть местечко, где можно уединиться, сдохнуть, и чтобы никто тебя не потревожил. Только представьте, каково нам с вами, черт побери, до скончания дней жить в этой вот грязище.

— Идемте лучше обедать, — ответил Норман.

Он сочувствовал Министру, но ему не понравилось, что тот уравнял их положение. Норман ни минуты не сомневался, что у Министра не все дома, а вот в собственном душевном здоровье он если и сомневался, то очень редко. Сегодня же, на грани бреда, не сомневался вовсе. Ему было жаль безумцев, что его окружали, в том числе медбратьев и докторов. Он взял Министра за руку и повел к столу. Обычно к ним никто не подсаживался. Оба были до такой степени одиноки, что держались друг друга, прочие же пациенты великодушно не нарушали их уединения. Однако сегодня их стол уже занял вновь прибывший, который еще не знал здешних порядков. Он робко, с недоверчивым изумлением рассматривал жуткое месиво на своей тарелке. Поднял глаза и увидел, что по бокам от него стоят Норман с Министром, точно собрались его арестовать. Новичок машинально встал, и Норман

отчасти догадался, как тот жил прежде. Он понял, как именно его привезли сюда, возможно, и не впервые, потому что скорость его реакции свидетельствовала об укоренившейся привычке, доведенной до автоматизма.

— Не нужно, — сказал Норман. — Садитесь, мы все поместимся.

Но Министр отказался присоединиться к ним.

— Ишь, новенький, — подозрительно произнес он, — неизвестно, где был и что притащил, на себе, я имею в виду. Тут надо смотреть в оба. А этому сделать прививку, — выкрикнул он, — неизвестно, где он был раньше. Вдруг нас заразит? Не подходите к нему, приятель, — обратился он к Норману, — здесь у нас каждый сам за себя.

Министр перешел за другой стол — туда, где грязь была привычна и не так пугала. Трое сидящих за столом не обратили на него внимания, даровав Министру роскошь уединения.

— Кто хочет эту дрянь? — выкрикнул он, и все трое не глядя пододвинули к нему тарелки.

Министр аккуратно разделил содержимое своей тарелки на три части — сперва мясо, потом картофель с овощами и, наконец, подливку, хоть и с меньшим успехом.

— Бог знает, где он был, — пробормотал Ми-

нистр. — Этот, вон там. Почему меня не разбудили, когда он поступил? Меня ни о чем не предупреждают, хотя вам прекрасно известно, что это моя работа, черт бы вас всех подрал, — заорал он на пациентов.

— Вы сегодня кого-нибудь ждете, Министр? — спросил его сосед по столу, рассчитывая поговорить о чем-нибудь нейтральном, но жестоко промахнулся с темой.

Министр молча встал и вышел из-за стола. Направился к шкафчику в глубине палаты, достал дезинфицирующее средство. Приблизился к столику Нормана и, остановившись в двух-трех футах от объекта, согласно инструкции на пузырьке, обильно опрыскал вновь прибывшего. Он не успокоился, пока не вылил весь пузырек на объект, который привык всю жизнь подчиняться и даже не шелохнулся. Пустой пузырек Министр поставил на стол и вернулся на кровать. Новичок посмотрел на свой дезинфицированный обед и отодвинул тарелку.

— Хотите — берите мою, — предложил Норман. — Я не голоден.

Но тот покачал головой, и Норман его оставил. Он не испытывал к новичку ни малейшего интереса и был совершенно безразличен к его

безмолвному отчаянию. Норман решил посидеть на лужайке. Там хотя бы чисто. И *они* не ползают, а если вдруг окажется, что *они* там, то все-таки легче увидеть *их* снаружи, чем в палате, где от *них* впору рехнуться, как все остальные.

Солнце стояло точь-в-точь над лужайкой, и Норман свернулся калачиком на теплом шезлонге. Он рассчитывал посидеть здесь, пока посетители не уйдут: не хотелось видеть, как сложится день Министра. Но солнце его раздражало, и он перетащил шезлонг под дерево. Он был рад, что большинство пациентов еще внутри. Не было сил слушать их уличный смех, но и окружающая тишина тоже пугала. В такой же день, в такую же неподвижную зловещую жару у Билли случился приступ: мозг не выдержал монотонности зноя и света. Норман почувствовал, что если посидит на свету еще чуть-чуть, то и сам свихнется. Можно было вернуться в палату, скукожиться в темноте под одеялом, но там подстерегала другая, еще большая опасность. В теперешнем состоянии Норман не представлял, что делать со своим телом и какая именно его часть жаждет спрятаться. Нужно было прятать глаза, потому что они видели *их*, нос, потому что он чуял *их*, и всё его тело нуждалось в укрытии, потому что

зудело из-за *них*. Однако ж ум его оставался ясен и невозмутим. Но тело и ум неразделимы, так что придется отправить их обоих под одеяло, заверив ум, что он сознает его неуязвимость. Солнце просачивалось сквозь густую листву, и Норману было страшно, потому что он знал: добром это не кончится. Единственной темной комнатой в их корпусе была уборная, но там нельзя было запереться. Нужно было сообщать, что ты идешь в уборную, и сидеть там дольше отведенного времени запрещалось. Норман чувствовал, что рано или поздно его убьет именно эта ужасная невозможность хоть минуту побыть одному.

Он встал, пинком опрокинул шезлонг и поплелся в коридор. Пересчитал столы. Всего пять, на четвертом скатерть в пятнах от чая, ее не меняли с самого его приезда. Он до омерзения обвыкся тут: так привыкаешь к собственному дому — настолько, что не замечаешь определенные недостатки, поскольку с ними вполне можно жить. О доме он теперь почти не думал. Смутно помнил его географию. А если и случалось задуматься, не мог восстановить в памяти расположение комнат. В сознании мелькали обрывочные картины. Белла в белых носочках, любимый стул Давида, мама плетет шаббатние халы, Эстер корпит над кни-

гами. Вместе они составляли ту движущую силу, которая и ввергла его в теперешнюю изоляцию.

Он откинул одеяло и аккуратно разгладил рукой простыни. Лег в постель и заметил, что Министр таращится на него. Норман вспомнил первый свой день в лечебнице и как этот взгляд встревожил отца. Норман улегся под одеяло и накрылся с головой. Внутри было темно и жарко, и он постарался сосредоточиться на этих двух благодатях. Потом он привык, темнота просветлела, жара сделалась нестерпимой. Так и задохнуться недолго, подумал он, но умирать не хотелось. Ему хотелось уснуть, проснуться — а вокруг чистота и не противно коснуться чего бы то ни было. Он почувствовал, что потеет, и приписал это жаре. Потом у него зачесалось всё тело, но и это он объяснил жарой. Иначе он просто не мог. Порой он вынужден лгать себе, в противном случае пришлось бы признать свое окончательное поражение. Он чесался, стараясь думать о чем-то другом, чтобы отвлечься. Неужели Министр всё еще смотрит на меня, подумал Норман, и выглянул из-под одеяла. Но Министра не было. Скорее всего, отправился в уборную — подготовиться к мытарствам.

Санитары убирали тарелки после обеда, нови-

чок по-прежнему сидел за столом. До прихода посетителей оставался еще час, и не было ничего хуже, чем ждать, терзаясь страхом, что не сумеешь их занять. Из сада доносилось бормотание: пациенты репетировали монологи. «Как дела дома? Как машина? Да, мне гораздо легче, спасибо», и долгие мучительные паузы, преодолеть которые невозможно, сколько ни репетируй. «Да, лучше идите, а то опоздаете на автобус. Увидимся через неделю»; на этом монологи завершались и повторялись с начала, не меняясь от недели к неделе, осыпали гладкие лужайки словесными испражнениями, чтобы в конце концов встретить угрозу во всеоружии.

Норман заметил, что новичок поднялся было из-за стола, но передумал и уселся обратно. Палату внезапно пронзил луч солнца, и Норман, чертыхнувшись, спрятался от него под одеяло. Лежал, наслаждаясь темнотой, но жара была нестерпима. Позвонили к вечернему чаю: значит, через четверть часа появятся посетители, подумал Норман и изумился тому, что сумел пролежать так долго, обливаясь потом. Он решил попроситься в ванную. Обтереться губкой, смоченной в холодной воде: от одной лишь мысли об этом ему стало гораздо легче.

Он встал с кровати, направился к дежурному медбрату. Тот сказал, что сейчас в ванной Министр, но скоро выйдет, потому что ждет посетителей.

— Прихорашивается для мамочки, — улыбнулся медбрат. — К вам тоже сегодня придут?

— Нет, — с облегчением ответил Норман. — Я просто не хочу сидеть в палате, когда придут посетители. Они наводят на меня тоску. Приму ванну, убью время.

— Там открыто, — сказал медбрат. — Поторопите Министра, и минут пятнадцать в вашем распоряжении. Я потом поднимусь. — Он выдал Норману чистое полотенце из стоявшего за спиной шкафчика, прищурился и с улыбкой спросил: — А вы всё время моетесь?

Норман рассмеялся.

— Тут грязища хуже, чем в шахте, вот в чем дело, — ответил он.

— Что ж, вы имеете право думать как вам угодно, — великодушно согласился медбрат.

Норман пошел в ванную. Солнце било в окна, тянущиеся с одной стороны коридора, и Нормана вновь одолело дурное предчувствие, которое преследовало его весь день. Но наверху, в ванной комнате, темная прорезиненная занавеска: он

задернет ее и хоть на время окажется в темноте.

Однако наверху он с удивлением заметил, что из-под двери ванной сочится солнце: странно, что Министр, ненавидевший свет так же сильно, как Норман, не удосужился задвинуть занавеску. Норман решил, что окликнет его и подождет снаружи. Он слишком ценил собственное уединение, а потому уважал чужое.

— Министр, — негромко позвал он.

Ответа не последовало. Должно быть, Министр не услышал, подумал Норман. В ванной комнате часто глохнешь. Он позвал еще раз, громче. Ответа опять не последовало, однако Нормана встревожило не столько молчание Министра, сколько полная, всеобъемлющая, звенящая тишина за дверью. Норман хотел войти, но испугался. Он не отваживался задуматься о природе своего страха, но тот явно был связан с пробивающимся из-под двери солнцем и зловещей тишиной в ванной.

Он чуть приоткрыл дверь ногой и посмотрел в узкую щель. Увидел край ванны. Отметил, до чего грязны краны, выругал и краны, и само заведение, потом заметил то, что еще открывалось взгляду. Меж горячим и холодным краном покоилась нога Министра. Вторая упала в во-

ду. В такой позе не было ничего необычного, не считая того, что обе ноги по-прежнему были в ботинках и вокруг щиколотки Министра, точно мусорная пена, плавали целлофановые пакетики. Но и это странное зрелище не слишком обеспокоило Нормана, подглядывающего в щелку. Всему можно было найти объяснение. Министр никогда не снимал ботинки и, видимо, заснул в ванне. Нормана вдруг пробрал озноб. Было в этой сцене что-то еще, что он отказывался признать, и никакая сила в мире не заставила бы его открыть дверь шире и выяснить, что же произошло. Он вдруг заметил, что вода в ванне красная, кое-где даже густо-багровая, и местами в полосках. Ему вспомнилось излюбленное семейное словцо: в теперешней ситуации он охотно с ним согласился бы. У него галлюцинации. Ему всё это кажется. Разумеется, насчет серебристых рыбок они заблуждались, глубоко заблуждались, но в минуту душевного потрясения немудрено увидеть галлюцинацию, а у него сейчас именно такая минута, вдобавок еще это жуткое солнце и всеобщее молчание. Норман долго таращился на воду, надеясь, что всё это лишь иллюзия. Но чем сильнее его пробирал озноб, тем краснее становилась вода. Он затрясся. Нужно признать

очевидное. Красная вода — не галлюцинация, как и серебристые рыбки, и усомниться в этом значило изменить себе. Коль скоро он, Норман Цвек, что-то видит, то оно существует. В том числе и эта кровавая вода. Он смотрел сквозь щель в двери, чувствовал, как по коже пробегает мороз, думал о Давиде, и от этого воспоминания ему стало тошно. Сколько людей умудряется прожить жизнь, ни разу не став свидетелем ее завершения, будь то сознательного или нет. Почему же, во имя всего святого, его избрали на неприглядную роль вездесущего коронера. Он распахнул дверь настежь.

Голова Министра была под водой. Посиневшие до локтей руки лежали на воде. Тот ботинок, который ушел под воду, покоробился от жары. Подошва отстала, обнаружив тайник Министра. Нормана так и подмывало забрать пакетики, но он вспомнил последнее свое судебное дело, когда Берти Касс украл кольцо с пальца покойной матери, и удержался. Он смотрел на плавающие пакетики, возмущаясь, что столько белых пропадает зря.

Норман бросился прочь из ванной. По щекам его текли слезы. Порой он жалел Министра, порой сочувствовал ему, но никогда до этой минуты

по-настоящему не любил. Его трясло от озноба и судорожных рыданий. Его мучил страх, однако впервые за долгое время ему ужасно хотелось жить. Норман промчался по коридору, выкрикивая «Он мертв, он мертв!».

За одним из столов сидела пара; Норман предположил, что женщина, скорее всего, мать Министра. Он схватил ее за плечи и встряхнул, как пузырек с пилюлями.

— Это вы его убили, — завопил он, — шлюха чертова. Вы его убили.

Медбрат увел его к себе во флигель, и, когда к Норману вернулся дар речи, он рассказал ему обо всём. Медбрат позвонил, и врачи за считаные минуты уверенно и хладнокровно навели порядок. Всех посетителей и пациентов, к которым они пришли, препроводили наружу. Посетителями Министра занялся врач, общую палату заперли. Там остались лишь несколько человек, включая вновь прибывшего: все они спали.

Норман сидел на кровати, закрыв лицо руками. Солнце снова его тревожило, скорбь сменялась растущей паникой. Он наконец-то понял, что здешний источник иссяк навсегда. Белых хватит всего на неделю, а дальше потянутся дни мучительной ломки. Он потеребил край халата

и вытащил пакетики через дырку на конце шва. Через несколько минут усилий в горсти его оказался весь неприкосновенный запас. В проблеске здравомыслия один пакетик он спрятал обратно — на черный день.

— Да и черт с ним, — пробормотал он себе под нос, высыпал таблетки в ладонь и проглотил все до единой.

Час он сидел на кровати, заслоняя глаза ладонью от солнца, и всматривался в спящих. О Министре он думать не мог, как ни старался. Норману казалось, что всё это случилось много лет назад и теперь об этой истории осталось лишь смутное воспоминание, словно он очнулся от кошмара. Его внимание целиком занимала армия серебристых рыбок на полу. *Они* сползались к нему из слепящего солнца, неторопливо, полчищами, с нахальной уверенностью. Он смотрел, как *они* подбираются к нему, стягивают силы к его ногам для решительного штурма тела. Он со страхом наблюдал за *ними*, слышал *их* медленное, мерное дыхание. *Они* ползли, оставляя за собой испражнения, и пол в палате устилали *их* следы. Объятый ужасом, он любовался *их* маневрами, тем, как *они* собирались в кучки у его ног. Он хотел было поднять ногу, наступить на *них*,

но знал, что, если он попытается *их* раздавить, они *его* сокрушат. Более пугающего зрелища невозможно было представить, однако Норман, несмотря на всё отвращение, невольно сознавал, что *они* неприкосновенны, поскольку *они* — единственное доказательство его душевного здоровья. И он смотрел, как *они*, точно пилигримы, кишат у его ног. *Они* тоже избрали его, как избрали его родители и сестры, и он сидел, онемев от испуга, *их* вынужденный поборник. Вдруг *они* кинулись на него, и он понял, что погиб.

Норман раскрыл рот в крике, но не услышал ни звука. В дальнем конце палаты стоял пылесос, который бросили в спешке, даже не выключив из розетки, когда стало известно о Министре. Норман бросился к пылесосу, выдернул шнур, подхватил и, дивясь собственной силе, разорвал, расщепил на разноцветные проводки и снова вставил штепсель в розетку. Потом пополз к кровати, поднося куски провода к плинтусу, чтобы *этих* убило током. Всё это время за ним наблюдал новичок, от крика которого проснулись прочие пациенты: их заразила Норманова тревога. Добравшись до своей кровати, Норман поднялся и хотел было поднести обнаженные проводки к своему телу, но вбежали два санитара и схватили

его за руки. Он выронил куски шнура и с мольбой поглядел на них.

— Усыпите меня, — простонал он.

Ему сделали укол, и Норман так и не понял, что именно его обездвижило: ослепляющее солнце или игла. Мышцы его обратились в воду, и, отключаясь, он мысленно поблагодарил санитаров, что уняли его разбушевавшийся ум.

В следующую неделю в лечебнице разразилась эпидемия нервных срывов, а за ней последовали вспышки глубокого сна. Со смертью Министра рухнула коммерческая империя, и легионы его клиентов остались ни с чем.

17

Эстер пришла на следующий день. Рабби Цвек сидел на балконе, когда в дверь позвонили. От нетерпения он не находил себе места и встал с кресла, чтобы как-то себя занять. Но, поднявшись, вдруг ощутил свою уязвимость и понял, что ему не по силам выйти встретить дочь в коридоре. И вовсе не потому, что он уставал стоять, а потому, что чувствовал себя совершенно беззащитным; ему требовалась поддержка для этой встречи, которой он страшился столько же, сколько желал. Рабби Цвек опустился в кресло. По бокам его прикрывали подлокотники. В таком положении куда проще принять кого бы то ни было, как он собирался принять свою дочь, от которой отказывался целых двадцать лет.

Он сознавал, что, отвергнув ее, совершил ошибку, и верность памяти Сары его не оправдывала. Он уже не считал, что дочь согрешила против него, и надеялся лишь, что она сумеет его простить. Надо будет спросить ее про мужа, хотя рабби Цвек понимал, что сделать это будет непросто, но это тоже часть возвращения.

Он навострил уши, силясь услышать ее голос, который тетя Сэди и Белла заглушили приветствиями. Он надеялся, что они оставят их наедине, особенно в начале, когда он впервые ее увидит. Укоры совести сменялись в его душе смущением и приятным волнением, и ему не хотелось, чтобы это кто-то заметил. Он развернул кресло к двери.

С трудом сдерживая радость, он смотрел, как открывается дверь. Сперва на пороге никого не было, и он услышал, как она мнется, не решаясь войти.

— Эстер, — позвал он, задрожав от восторга при звуках этого имени, и на него нахлынули воспоминания о ее детстве. Как он ерошил ее светлые кудряшки, какая она была худенькая и гибкая, точь-в-точь мальчишка, и как он каждое утро провожал ее взглядом, когда она бежала по улице в школу. Этот трогательный живой образ он вспоминал каждый день все те долгие годы, что ее не было рядом. Когда она наконец показалась в дверях, он вздрогнул и постарался скрыть потрясение. Он улыбался ей, в душе же его кипела горькая досада на то, что он из-за своего упрямства пропустил ее превращение в женщину. Она давно выросла, лицо и фигура

определились. Теперь тело ее могло разве что постареть, но в целом облик ее уже не изменится. Рабби Цвек почувствовал себя так, словно на середине спектакля выходил из зала и теперь пытается понять, что происходит.

Но его смущало не только то, что с возрастом она изменилась. Он не узнавал ее волосы. Он смирился с тем, что Эстер неминуемо постарела, пусть он не видел этого и не хотел видеть, однако думал, что волосы ее с возрастом потемнеют, быть может, чуть поредеют. А волосы оказались густые, даже слишком густые, темно-каштановые, без следа прежних кудрей. Они вообще не походили на волосы. Жесткие, грубые, как придверный коврик. А потом до него дошло, что именно она сделала, и ком подступил к горлу; казалось бы, мелочь, но из-за этого двадцать лет разлуки показались ему особенно горькими. В замужестве Эстер обрила голову и надела традиционный парик; рабби Цвек наконец понял, что брак, который он так упорно отказывался признать, Эстер воспринимала всерьез, как если бы вышла за одного из своих.

Эстер заметила его изумление, но она догадывалась, что так будет, а потому и была готова. Была она готова и к тому, что тоже заметит в отце

перемены. Он очень постарел, но гордость не позволяла ей выразить удивление. Мать и отец всегда казались ей стариками. Но ее рассердило, что его так потрясла ее внешность. В конце концов, чего он ждал? Неужели он думал, что она перестанет расти, застынет, пока он не найдет в себе силы снова ее принять?

— Я постарела, — заявила она с порога, — и очень рада.

Слишком уж рано она бросилась возражать, и в голосе ее сквозила злоба. Рабби Цвек принял это как часть своего наказания.

— И я тоже очень рад тебя видеть, — просто ответил он. — Иди же ко мне, дай на тебя посмотреть.

Она подошла к нему, и они долго рассматривали друг друга. Он никак не мог привыкнуть к коврику на ее голове и старался на него не глядеть. Ведь даже Сара, упокой Господи ее душу, даже она не пускалась в такие крайности, когда они поженились, а уж Сара была очень набожна. Рабби Цвек решился спросить напрямую, чтобы между ними не возникало неловкостей и недомолвок.

— Я вижу, ты носишь *шейтл*[22], — проговорил он.

— Я замужем, пап, — сказала Эстер.

— Да-да. Как поживает… э-э… Джон? — Вопиюще нееврейское имя, однако же рабби Цвек заставил себя произнести его.

— Хорошо, — ответила Эстер. — Он желает тебе скорейшего выздоровления.

Она дотронулась до его рукава, и он осознал, что они так и не обнялись. Но в ее прикосновении была завершенность: это самодостаточный жест, и за ним не последует поцелуя. Неужели она этим и ограничится, подумал рабби Цвек. Быть может, мне самому сделать первый шаг? Сдержанность дочери ранила его. Сердце разрывалось от накопившейся за долгие годы любви, но стоявшая перед ним женщина была ему чужой. Должно же быть волшебное слово, какой-нибудь жест, который поможет ее вернуть?

— Норману нездоровится, — сообщил он, сам не понимая, к чему это говорит. Наверное, чтобы Эстер почувствовала себя родной. — Как жаль, что ты так и не повидала маму, — прошептал он. Рабби Цвек потихоньку связывал дочь с их

---

[22] Примечания: 22

Парик из искусственных или натуральных волос, который носят многие замужние ортодоксальные еврейки.

прошлыми и нынешними печалями, соединял со своими слезами, возвращал в семью. Он услышал, что она плачет. Она опустилась рядом с ним на колени, и он обнял ее слабеющими руками, заставил себя погладить ее по фальшивым протестующим волосам. — Но у тебя есть я, — добавил он, — твой старый папа. Мы вместе, и теперь всегда будем вместе. — Тут он тоже принялся всхлипывать, они расплакались, и Эстер снова стала своей.

Дальше было легче; к ним присоединились Белла и тетя Сэди. Эстер не рассказывала о жизни с Джоном и не обижалась, что ее об этом не спрашивают. Все темы для беседы предлагал рабби Цвек. О событиях, произошедших после разрыва как в жизни Эстер, так и в их, не обмолвились и словом, и разговор крутился вокруг общих воспоминаний. Вспомнили ее школьные годы, хедер, то время, когда рабби Цвек служил раввином, перебрали с пятого на десятое дела давних лет; казалось, больше ничего и не требуется, чтобы вернуть Эстер в лоно семьи. Потом разговор завял, поскольку они старались не упоминать о Нормане. Впрочем, молчание никого из них не тяготило. Членам семьи незачем вести светскую беседу. Они собираются, чтобы посоветоваться,

обсудить что-то конкретное, но молчание затянулось, и Эстер попросила:

— Расскажите мне о Нормане.

Рабби Цвек и Белла переглянулись. Им хотелось поделиться переживаниями, но оба знали, что рассказывать больнее, чем молчать, и каждый стремился избавить другого от этой боли. Поэтому они начали одновременно, а потом заговорили наперебой. Так вышло, что рассказывали они скорее не о болезни Нормана, а о своих страданиях, и это тоже привязывало Эстер к ее возвращению. Ей было неловко, что она не принимала в этом участия. Она жалела Нормана, но их страдания трогали ее сильнее, и она представила, как после ее ухода отец с матерью, Белла и Норман сидели за этим же столом. Она столько раз видела, как они сидят здесь, она догадывалась, как они переживали. Но лишь сейчас сердце ее разболелось из-за того, что она сделала.

Она проклинала Нормана, который подбил ее на это: и ведь вся семья считала, что он ни при чем. Она часто представляла, как он читает им письмо, то письмо, которое сам же и продиктовал. Она представляла его поддельное изумление, его поддельное негодование, его поддельное горе. Как ему удалось примириться со смертью Давида,

сознавал ли он, что отчасти сам в ней повинен? Она вспомнила о Джоне и поняла, что соскучилась по нему. Она его уже не любила. Сказать по правде, она разлюбила его давным-давно. Но брак их устоял, потому что обязан был устоять. Если бы он распался, смерть Давида обессмыслилась бы окончательно. Она целиком и полностью зависела от Джона, словно бремя ее вины было слишком тяжким, чтобы нести его в одиночку. Они годами делили горесть причиненного ими несчастья, в одиночку же она терялась и изнывала под этой ношей. Но если отец простит ее, она готова тут же оставить Джона, как была готова все эти годы, едва родители подали бы ей хоть малейшую надежду на примирение. А Джон, хоть и любил жену всей душой, отпустил бы ее ради ее же покоя. Но мать умерла, даже не прошептав ее имени, так что придется ей согласиться на половину прощения. Мать не знала, как всё было на самом деле. И отец. Все случилось совсем не так, как они полагали: она-де сбежала тайком, потому что вышла за чужака. На самом деле Эстер ушла из дома еще незамужней. Нет, всё случилось вовсе не так грубо, да и не так стремительно. Это началось за несколько лет до того, как родители обо всём узнали.

Эстер училась в последнем классе и регулярно заглядывала в библиотеку, чтобы полистать книги, а иногда и позаниматься. Она знала Джона как друга семьи. Ему как-то удалось договориться, чтобы ее отцу в обход правил выдавали книги из справочной библиотеки, и Джон частенько захаживал к ним, нагруженный отцовскими заказами. С Норманом почти не общался, хотя был немногим его старше: им было не о чем говорить. Он приходил именно к ее отцу. Джон обожал слушать его рассказы и за годы общения нахватался вершков еврейской традиции.

Однажды Эстер отправилась в библиотеку сразу после школы и засиделась, потому что лил дождь. Стол Джона стоял в центре читального зала, и Джон восседал за ним в окружении телефонов и папок с документами. Она заняла место на скамье точно напротив его стола — без всякого умысла, потому лишь, что только оно и было свободно. Эстер читала без особого интереса, дожидаясь, когда же закончится дождь. То и дело, отрываясь от книги, поглядывала в окно, а один раз посмотрела на сидящего за столом Джона, и ей показалось, что он тоже на нее смотрит. Эстер уткнулась в книгу, притворилась, будто читает, но вскоре опять подняла голову: Джон по-преж-

нему смотрел на нее. Она уткнулась в книгу, но и там видела его. Эстер почувствовала, что ее трясет. В напечатанном тексте ей мерещилось лицо Джона: так свет лампы с первого же взгляда остается на сетчатке. Она впервые отметила, что у него густые темные волосы, высокий лоб, а взгляд кроткий, как у женщины. Она боялась поднять на него глаза. С силой уперлась ногами в пол, чтобы унять дрожь. Ее охватила тревога, захотелось вскочить и уйти из библиотеки, не оборачиваясь на Джона. Она встала из-за стола, опасаясь, что ее дрожь заметят, направилась к двери, но тут он окликнул ее. Она замялась, чувствуя, что возвращаться опасно, но потом сказала себе: было бы невежливо делать вид, будто она не расслышала. Она направилась к его столу; от мучительной нарастающей боли ноги отказывались сгибаться. Она уже не видела в нем друга семьи. Сейчас невозможно было представить его в этой роли. Эстер приблизилась к столу Джона, и он спросил себя, сумеет ли еще когда-нибудь прийти к ее отцу.

— Я живу напротив, — сказал он. — Можете переждать дождь у меня в квартире. А то вымокнете, пока доберетесь до дома. Я приду примерно через полчаса.

Он мог бы и не придумывать предлог. Эстер взяла ключ и карточку, на которой он нацарапал адрес, так, будто она это предвидела, будто они давно условились обо всём, и ушла дожидаться Джона.

Это было начало — точнее, подтверждение начала. Они встречались почти каждый день после школы. Порой даже осмеливались прогуляться, но обычно сидели у него дома: это более соответствовало их тайной связи. Они были по уши влюблены, хотя заговорить о будущем ни он, ни она не отваживались. Джон не хуже Эстер понимал, что брак между ними невозможен. Порой Эстер отказывалась признавать эту невозможность и в такие минуты предлагала Джону порвать отношения. Недели две или три они избегали друг друга, после чего неизменно сходились снова.

До того самого дня, когда Давид посмотрел на Эстер в синагоге, ее дружба с Джоном продолжалась без малого два года. Эстер ответила на чувства Давида больше из благодарности, рассчитывая с его помощью высвободиться из отношений, обреченных на несчастливый конец. Она стала реже видеться с Джоном и изо всех сил старалась полюбить Давида, хотя и вынуждена

была признаться самой себе, что это невозможно. Тем не менее она приняла его предложение, рассчитывая, что законный брак в конце концов избавит ее от любви к Джону. Но ее мучило, что она лжет и себе, и Давиду; чтобы скинуть это невыносимое бремя и найти хоть какой-нибудь выход, Эстер решилась поговорить с Норманом. Родители и слушать не стали бы, а Белла не поняла бы, поэтому Эстер выбрала именно Нормана, которого недолюбливала, однако же уважала за разум и проницательность.

Как-то раз они остались дома одни, и Эстер сразу заговорила о главном.

— Я не люблю Давида, — сказала она. Ей показалось, что Норман улыбнулся, но она приписала это смущению из-за несвойственной им откровенности. — И никогда не полюблю, — добавила Эстер.

— Тогда зачем ты собираешься за него замуж?

— Иначе нельзя, — объяснила она. — Только так и можно разорвать с другим.

— Это Джон? — уточнил Норман.

— Откуда ты знаешь?

— Догадался. Года два? — Эстер показалось, что в голосе Нормана сквозит самодовольство. — Не бойся, — добавил он. — Никто ни о чем не подо-

зревает.

— Но ты-то откуда узнал?

— Я часто бываю в библиотеке. Джон ничего мне не говорил, но он так о тебе отзывается, что несложно понять. Да ладно тебе, — рассмеялся он, — вы же созданы друг для друга. Признай это наконец.

Она была безмерно благодарна ему за то, что он не только понимает, но и одобряет их отношения.

— Не могу же я выйти за него замуж, — сказала Эстер.

— Почему?

Она возмутилась его черствости.

— Не могу же я так обойтись с мамой и папой. С мамой еще ладно, но с папой? Это разобьет ему сердце.

— Не так-то просто разбить родителям сердце, — возразил Норман. — Побушуют да успокоятся. Если вы друг друга любите, ты так и должна поступить.

— Не могу, — ответила она. — Они никогда меня не простят. И что будет с Давидом? Что он почувствует?

Норман подался к ней.

— Ты правда хочешь это знать? — спросил

он. — Ты правда хочешь знать, что почувствует Давид, если ты не выйдешь за него замуж?

Эстер удивилась, что Норман всерьез воспринял ее вопрос.

— Да, — неуверенно проговорила она. — Я хочу знать, что он почувствует.

— Облегчение, — ответил Норман. — Полное и безусловное облегчение.

Эстер недоуменно уставилась на него.

— Послушай, — продолжал он, — если бы это тебя не касалось, я бы даже не заикнулся, но это тебя касается, причем самым непосредственным образом. Я надеялся, что ты сама обо всём догадаешься. Видишь ли, Давид, — он говорил медленно, подчеркивая каждое слово, — Давид собрался жениться на тебе затем же, зачем и ты собралась за него замуж. Он тоже хочет избавиться от влечения.

— У него есть другая? — спросила Эстер, и в душе ее шевельнулась ревность. — Но тогда мы только выручим друг друга. Мы с самого начала можем быть честны друг с другом.

— В общем, — продолжал Норман, — не всё так просто. Его влечение несколько отличается от твоего.

— Да в чем дело-то? — уточнила Эстер, досадуя

на собственную непонятливость.

— Ты разве не догадываешься? — удивился Норман. — Ты ведь давно его знаешь.

Эстер понятия не имела, какое такое замысловатое и причудливое влечение имеется у Давида.

— Нет, не догадываюсь, — ответила она. — Сам скажи.

— Возможно, тебя это шокирует, — начал Норман. — Но другой женщины у него нет. — Он примолк, рассчитывая, что Эстер вот-вот сообразит, о чем речь, но она всё так же недоуменно таращилась на него. — Ему… ему нравятся мужчины, — наконец выговорил Норман. — В общем, он гомосексуалист.

Эстер знала, что это значит. Это слово не раз попадалось ей в книгах, однако ассоциировалось у нее с древней историей или чужими краями, и невозможно было даже помыслить, что оно имеет хоть какое-то отношение к ней или к кому-то из знакомых. Сперва ее охватили омерзение и ярость из-за того, что ее так жестоко обманули, но потом она пожалела Давида и вдобавок порадовалась, что Норман успел ей обо всём рассказать.

— Тогда, разумеется, я за него не пойду, — сказала она. — Об этом и речи быть не может.

Норман опять улыбнулся, и Эстер удивилась:

чему тут улыбаться?

— Почему ты улыбаешься? — спросила она.

— Я не улыбаюсь, — поспешно возразил Норман. — Это от нервов. Ну и, наверное, от облегчения, что теперь ты всё знаешь. Но ты права, — добавил он, — и я рад, что ты так решила. Тебе не следует выходить за него. Ты должна с ним порвать.

Но ей не хватало смелости решиться хоть на что-то.

— Не могу, — ответила она. — Что я ему скажу? Он не должен знать, что я знаю. И папе с мамой я тоже не могу сказать. Не могу же я их огорчить. Они уже видят меня замужней женщиной. Они говорят о внуках.

— Может, хватит идти у них на поводу? — сказал Норман. — Может, пора уже поступать так, как мы сами считаем нужным? Посмотри на Беллу: так до смерти и просидит возле них на привязи. Посмотри на меня: мне двадцать шесть, а я живу с родителями. Всё из-за них, это они меня лишили смелости быть собой. Послушай, Эстер, — продолжал он, — если ты так боишься их огорчить, сбеги. Уходи и никому ничего не говори. Мне и самому надо было так сделать. Но нет, мне втемяшилось им доказать, получить их

благословение, — рассмеялся он. — Ничего ты им не докажешь. Они опутают тебя по рукам и ногам чувством вины, и кончишь как Белла. Беги с Джоном. Выходи за него замуж и будь счастлива.

— Ты прав, — согласилась Эстер, ненавидя себя за слабость. — Мне духу не хватит высказать им всё это в лицо. Я сбегу. И оставлю им письмо. Но за Джона не пойду, — уже тверже произнесла она. — Не могу я так поступить.

— Еще как можешь, — отрезал Норман. — Тебе же с ним жить. А не им. Не хочешь выходить прямо сейчас — подожди немного. Но им скажи, что уже вышла. Пусть думают, что это *fait accompli*. Так им и напиши. Я набросаю тебе черновик.

Такое рвение ее удивило, и Норман это почувствовал.

— Не хочу, чтобы ты кончила как Белла, — пояснил он. — Потом сама спасибо скажешь.

Эстер упрямо твердила, что не пойдет за Джона, однако Норман убедил ее сообщить родителям, будто они поженились, иначе как она объяснит свой побег?

— В противном случае, — добавил он, — придется рассказать им о Давиде, а это совсем уж нечестно по отношению к Давиду и к его матери.

Тут он ее подловил. Оставаться дома было

немыслимо.

И Норман набросал два письма: одно — родителям, а другое, с бесконечной любовью и заботой, — Давиду.

Так всё и решилось. Готовясь к побегу, Эстер не раз задавалась вопросом, что двигало ее братом, и не находила ответа. Она недоумевала, отчего он так рьяно стремится спихнуть ее за Джона. Ее растрогало признание Нормана — дескать, мне не удалось вырваться на свободу, так пусть хотя бы у тебя получится: отчасти это объясняло его пыл. Выходить за Джона она не собиралась. Она намеревалась уйти из дома, потому что это было проще, чем остаться, и потому что не хотела брать на себя вину за обманутые надежды родителей. И она была благодарна Норману, который усмотрел силу в ее слабости.

Норману же было немного стыдно за то, что он сделал. Он убедил себя, будто у Давида проблема, которую не решить браком. И он, Норман, окажет ему услугу. На самом же деле ему не хотелось делить Давида ни с кем, и эта его потребность в Давиде допускала и оправдывала любые средства.

Вот так и обнаружили письмо, а потом и труп Давида. Норман бросился с известием к Эстер;

она как раз была одна в квартире Джона. Норман вошел, пошатываясь от слез, упал на стул и уронил голову на руки.

— Что-то с мамой? — прошептала Эстер. Норман судорожно рыдал. — Что-то с папой? — Она боялась услышать, что за весть принес ей брат, и инстинктивно винила его в случившемся. — Зачем ты пришел? — выкрикнула она.

Он поднял голову и уставился на нее невидящим взглядом.

— Давид, — сказал он. — Это ты его убила.

Она не сразу осознала вторую половину фразы, однако услышала и запомнила, решив подумать об этом после.

— Несчастный случай? — спросила она, не желая считать смерть Давида следствием своего письма.

— Он покончил с собой, — тихо произнес Норман. — Иди и сама сообщи его матери. Он прочел твое письмо и покончил с собой.

— Мое письмо? — прошептала она. — Это же было твое письмо. — Сперва нужно было разобраться с этим недоразумением. А горевать она будет потом. И Эстер уже догадывалась, как мучительно горевать. — Это было твое письмо, — повторила она.

— Он умер, — плакал Норман. — Зачем ты это сделала?

— Значит, облегчение, говоришь? Когда я спросила тебя, что почувствует Давид, ты сказал: полное и безусловное облегчение. Ты сам это сказал. — Она схватила его за плечи и с ненавистью встряхнула. — Ты знал, что он меня любит, так?

— Возвращайся домой, Эстер, — прерывисто произнес Норман, — ты должна вернуться домой.

Она выпустила его, ошеломленная такой просьбой.

— Ну нет, — сказала она, изумляясь застарелой горечи в собственном голосе, — ну нет, ты заварил эту кашу, тебе и расхлебывать. Ты взял на себя мою вину, так и иди домой, и живи с ней до конца дней. Прибавь к ней свою, и получится славная ноша. Иди домой, и чтоб ты сдох под ее бременем.

Она ненавидела себя за это жестокое торопливое красноречие и, когда он ушел, дала волю слезам, признавая свою вину. Теперь она просто обязана выйти за Джона, чтобы смерть Давида не обессмыслилась совершенно. Но любовь к Джону постепенно растворилась в скорби: брак стал для нее расплатой. Виноват в этом тоже был

Норман. Бракосочетание состоялось через месяц; Эстер выходила не за Джона, а за Давида, потому и обрила голову.

Рабби Цвек взял ее за руку.

— Побудешь еще немного? — спросил он. — Тебе ведь не надо домой?

— Мой дом здесь, — мягко ответила она. — Туда я не вернусь. Останусь с тобой и Беллой.

Тетя Сэди вздохнула:

— Как в старые добрые времена. Ты поправишься, Ави, Норман вернется домой, правда же? И мы все будем счастливы.

К облегчению Эстер, никто не стал ее спрашивать, почему она так решила.

— Завтра поедем навестим Нормана, — сказала она.

Последнее препятствие — и она дома.

18

Никто из работников больницы не сообщил домашним Нормана о его нервном срыве. Даже если бы Белла позвонила, ей зачитали бы стандартное коммюнике: спит под успокоительными (здешний эвфемизм, скрывающий неспособность медбратьев усмирить разбушевавшегося). Рабби Цвек с нетерпением ждал визита. Он не видел Нормана больше месяца, к тому же на этот раз ехал к нему с желанными гостьями и возлагал большие надежды на семейное воссоединение. Эстер нервничала. Она понятия не имела, что сказать Норману. Аккуратность и однообразие его узилища наводили на нее страх, и Эстер жалела брата. Она оказалась совсем не готова к встрече и решила посмотреть, как ее примет Норман: вдруг в штыки?

Рабби Цвек вел их за собой по коридору, как гид, кивая знакомым лицам.

— В дальней палате, — обернулся он. — Входите же. — Он встал в дверях, пропуская их в палату. — То-то он изумится.

Ему хотелось понаблюдать со стороны, как

Норман встретит Эстер, но тут к нему подошел дежурный медбрат.

— Рабби Цвек, — негромко сказал он, — не могли бы вы на минутку заглянуть ко мне?

Рабби Цвек вздрогнул, но последовал за ним.

— Что-то случилось? — спросил он робко, почти виновато.

— Присядьте, — сказал Макферсон. — Ничего серьезного. Просто вчера у нас в отделении приключилась маленькая неприятность, — ему не хотелось упоминать о смерти Министра, — и некоторые пациенты переволновались. Норман распереживался, пришлось опять вколоть ему успокоительное. Жаль, он ведь шел на поправку. И тут такой рецидив. Но вам не о чем беспокоиться. Это пройдет, он скоро начнет выздоравливать.

Рабби Цвек рассердился.

— Домой ему надо, — сказал он. — Мало ему своих расстройств, так еще за других волноваться. Я забираю его домой, — отрезал он.

— Это невозможно, — возразил Макферсон. — Всё равно ему придется пробыть здесь еще три недели. А потом мы сами отвезем его домой.

Рабби Цвек вздрогнул, вспомнив, как Нормана везли в лечебницу; второй такой поездки он не

выдержит.

— Можно с ним посидеть? — нерешительно спросил он, досадуя на себя за то, что так легко сдался. С тех пор как Норман заболел, рабби Цвеку не раз приходилось, смиряя злобу, подчиняться тем, чьим знаниям он не доверял, поскольку сам он в этом не смыслил, а следовательно, и сделать тоже ничего не мог.

Плечо уколола привычная боль. Но он не испугался. Любовь — его оружие, и теперь оно обернулось против него.

— Вы можете посидеть с ним, — разрешил Макферсон, — и даже поговорить, но он спит и едва ли ответит.

Рабби Цвек вошел в палату. Белла сидела в изножье кровати, тетя Сэди всматривалась в лицо Нормана. Она приехала его увидеть и увидит во что бы то ни стало. Эстер стояла возле кровати. Она так боялась этой встречи и теперь чувствовала облегчение оттого, что встреча откладывается. Постепенно она привыкнет к Норману, и, быть может, слова не понадобятся вовсе. Во сне он кажется совсем юным, подумала Эстер, и невинным, словно и не причинил им столько горя. Она заметила, что волосы его поредели, но лицо было гладким и спокойным. Интересно, изменилось

ли его тело, подумала Эстер, она никогда не видела его раздетым, даже в детстве, но сейчас ей непременно захотелось узнать, изменились ли очертания его тела. Ей необходимо было увидеть их в подтверждение многолетней разлуки, поскольку ей вдруг показалось, что они не расставались вовсе. Она принесла стул подошедшему к ним отцу, встала поодаль, смотрела на неподвижное Норманово тело и сокрушалась о том, во что они все превратились.

Рабби Цвек наклонился над кроватью, тронул Нормана за плечо.

— Норман, — сказал он, — это папа. Папа приехал тебя проведать. Кто сказал, что я заболел? Вот я здесь, у твоей кровати. Это папа, Норман. Поздоровайся с папой. — Он легонько встряхнул его, но тетя Сэди перехватила его руку. Ни один из них не отваживался взглянуть Норману в лицо. — Папа здесь, — повторил рабби Цвек. — Я совершенно здоров. Не волнуйся за меня, я не болен. Ты слышишь, Норман?

— Он знает, что ты здесь, — сказала Белла. — Не расстраивайся.

— Норман, — снова позвал рабби Цвек, но Эстер мягко усадила его на стул.

— Отдохни, пап, — она обвела взглядом осталь-

ных, — по-моему, мы зря теряем время.

Ее вдруг разозлило их отчаяние. Норман лежал не шевелясь и ничего не замечая, однако же власть его над собравшимися была безусловной, и Эстер захотелось отхлестать его по щекам, чтобы он очнулся и увидел, что натворил.

— Как ты это терпишь? — спросила она у Беллы. — Как тебе удается сохранять спокойствие?

— Это далеко не первый раз, — Белла улыбнулась сестре, — со временем привыкаешь.

Бремя, разделенное с другими, уже казалось ей легче — да и не бременем вовсе.

Рабби Цвек отвернулся от Нормана и увидел на соседней кровати смутно знакомое лицо. Человек таращился в пустоту, и рабби Цвек вспомнил первое свое посещение. Но кровать напротив Нормана, откуда на них в тот раз смотрели столь пристально и надменно, сейчас пустовала. И от этой пустоты рабби Цвека почему-то пробрала дрожь. Он уже привык к тому пациенту и теперь испугался отсутствия привычной, знакомой приметы нового Норманова пристанища, как испугался в тот день, когда не обнаружил в палате Билли. Человек, который сейчас смотрел с кровати неподалеку, напрасно рассчитывал воссоздать прежний облик палаты: в здешней

обстановке он выглядел нелепо, точно в обносках с чужого плеча.

— А где Министр? — крикнул рабби Цвек, неожиданно вспомнив имя отсутствующего.

Несколько пациентов обернулись к нему, и рабби Цвек отметил, что в палате не осталось ни единого знакомого лица, что тут вообще всё переменилось, кроме его сына, лежащего на кровати упрямой унылой тушей.

Он спохватился: ведь человек на соседней кровати показался ему знакомым, и рабби Цвек повернулся, чтобы заговорить с ним, отыскать хоть что-нибудь общее между ним и Норманом. Человек улыбнулся ему, и улыбка тоже была знакомая: вежливая, рассеянная, она вспыхивала и гасла, точно лампочка, которая вот-вот перегорит. Это был Билли, и рабби Цвек очень ему обрадовался. Значит, не все старожилы исчезли, бросили его спящего сына. Билли остался держать оборону и покинет палату лишь тогда, когда Норман будет готов уйти.

— Уильям? — произнес рабби Цвек. — Вы меня помните? Давно мы с вами не виделись. Вам лучше?

— Я вернулся сегодня утром, — улыбнулся Билли. — Да, мне лучше.

— Ваши родители приедут сегодня? — с надеждой спросил рабби Цвек.

С ними лечебница казалась не такой чужой. И они тоже уедут, когда уедет Норман.

— Как же я рад вас видеть, — сказал он, подошел к кровати Билли и прошептал: — Уильям, что случилось с Министром?

— Умер, — ответил Билли. — Вчера покончил с собой. Жаль.

Рабби Цвек содрогнулся. Пожалел родителей Министра — если у него были родители — и подосадовал, что недолюбливал покойного. И тут же поймал себя на том, что проклинает Министра: ведь его смерть так потрясла Нормана, что того усыпили. Рабби Цвек, несмотря на собственное горе, постарался отыскать в себе сочувствие к другому, не сумел и устыдился, что утратил способность сопереживать. Но Уильям был живой и настоящий, хотя кто знает, какой гнуси его мозг набрался за годы, проведенные здесь. «Когда он проснется, мой сын, — сказал себе рабби Цвек, — я заберу его домой. Чего бы это ни стоило. Мы заберем его домой».

Он вернулся к Норманову кровати. Тетя Сэди гладила Нормана по голове. Он метался и стонал. Белла положила руку на одеяло, торчавшее на его

коленях, точно покосившаяся палатка, Эстер стояла поодаль: ей было противно на это смотреть.

— По-моему, мы зря теряем время, — повторила она.

— Посиди минутку, Эстер, — попросил ее отец. Ему не хотелось уезжать от Нормана. Рабби Цвек питал смутную надежду, что Норман очнется, пусть ненадолго, но хотя бы увидит, что отец здесь и здоров. Однако он и сам сознавал, что нездоров. С той самой минуты, как они приехали в лечебницу, ему становилось всё хуже и хуже, а от известия о смерти Министра у него опять разболелось сердце.

— Я близко, я близко, — пробормотал он себе под нос. Ему хотелось побыть с Норманом — не ради Нормана, а ради себя самого, поскольку он чувствовал, что они скоро расстанутся навсегда. — Посиди чуть-чуть, Эстер. — Он похлопал по одеялу.

Эстер подошла, села возле него. Сказать друг другу им было нечего: казалось, спящий вверг их в оцепенение, и они опасались нарушить его безмолвную волю.

— Хорошо, что он спит, — прошептала тетя Сэди. — Еще немного посидим, потом поедем домой и сделаем вкусный чай с лимоном. И подготовим

всё к его возвращению. Тетя Сэди за ним поухаживает. Правда, Норман. — Она снова погладила его по голове. — Лежит совсем как маленький.

Да, все они когда-то были маленькими, подумал рабби Цвек. Он посмотрел на двух своих дочерей, вспомнил, какими невинными они были в детстве, как зависели от него, и снова почувствовал, что вот-вот их покинет, не оставив им ничего и никого, кроме лежащего под одеялом.

— Норман, проснись, — прошептал он в отчаянии, — проснись, пока я еще здесь.

Норман беспокойно заворочался во сне, и рабби Цвек подался вперед. Однако Норман тут же затих, откинул голову на подушку, гордо задрав подбородок. Казалось, его умиротворенный вид вынуждает их остаться. Они молча сидели подле кровати, настороженно смотрели на Нормана.

Черная тень билась о Норманов лоб, и он молил Бога, чтобы она исчезла. Он хотел крикнуть, но язык отнялся, пересох. Попытался поднять руки, чтобы отогнать тень, но они прилипли к телу, не отдерешь. Он лежал, не в силах пошевелиться, а черная тень, что билась о лоб, проникла в мозг и теперь колотилась в его голове. Норман недоумевал, как же эта бесплотная тень ухитряется колотиться так мерно и неотступно, почему вооб-

ще ее чувствует вещество, из которого состоит его мозг. Из этого он заключил, что его мозг обратился в пену. Он опять попытался провести рукою по лбу, но вынужден был признать, что тело уже не слушается его, что отныне оно в чужой власти.

Пена вспучилась до противоположной стены палаты, и в этой пене явились тени, и он увидел с улыбкой, что они тонут. На миг стук прекратился, но потом черная тень запятнала пену обещанием чая с лимоном. Его руки снова ожили, и он утопил эту тень, потому что ее забота была мучительно знакома. Пена отхлынула к его стене, и тени ткнулись в сознание, точно обломки корабля. Одну из них Норман хотел спасти, но не мог: тогда бы пришлось спасать их все. А ему хотелось только одну, ту темную тень, что клонилась ниже остальных, ту слабую тень, ту добрую тень, которую ему отчаянно хотелось уберечь от смерти, хотя бы до тех пор, пока не схлынет страшная волна. Тогда он спас их все, и маленькая тень раздулась от благодарности. «Не расстраивайся», — услышал он. Так говорила его мать с ее вечными расстройствами, но ее тень он не нашел. Он боялся, что не заметил ее из-за полного крушения рассудка. Он чувствовал, что она удерживает его, точно якорь, но не смог отыскать следов. В голове за-

стучало снова, и снова руки прилипли к бокам. Он снова вынудил пену разбухнуть, на этот раз она разрасталась неостановимо, и он с тошнотворной тоской догадался, что и пена уже ему не подвластна. Она разбухла от стены до стены, она колотилась в его голове. Он ждал, когда пена разбухнет до предела, потому что знал, что тогда боль отступит, но пена схлынула, едва поднявшись, точно волна, что передумала рушиться на корабль, точно оргазм, сам себе помешавший, пена сдулась, но боль не ослабла. И когда она вновь подступила к нему, вернулась к его существу и к его стене, то разбухла еще сильнее. Хватит, хватит, ради всего святого, хотелось ему закричать. «Я ближе, ближе», — послышался голос отца, и он испугался, что волна поглотит их всех. А потом вдруг она разбилась о зазубренные углы его сознания, и он уже не чувствовал боли. Все тени исчезли, стук прекратился. Пена нежно пощекотала его глаза, и он увидел, как она побурела. Из глаз его потекли кровавые слезы, серебристые рыбки скользили в его пересохшую глотку, трепыхались и погибали. Потом стук возобновился, и пена прорвала противоположную стену. Нужно бежать от волны, понял он и сжался в комочек, превратился в одинокую песчинку на плоту и с

ликованием выжившего уставился на обломки. Но тут над ним нависла тень. «По-моему, мы зря теряем время», — донеслось до него. «Иди, иди», — силился крикнуть Норман и вытолкнул ее за борт. Ему снова хотелось окунуться в волну. Он чувствовал себя в безопасности, погружаясь с головой в собственноручно устроенный хаос, а потому нырнул в пену, вновь разбухшую от стены до стены. Он вынырнул на поверхность, высоко задрал подбородок, чтобы не видеть тени.

Рабби Цвек взглянул в лицо сына и с радостью догадался: тот знает, что он здесь. Он заметил, что в палату вошли родители Билли, и его охватила нежность к ним. Они тоже обрадовались, увидев знакомые лица. В последний месяц их визиты к Билли проходили в молчании, и вокруг были явные безумцы, не то что Норман. Они смотрели на свернувшегося под одеялом Нормана и без слов сочувствовали ему.

— Снова нездоровится? — спросила мать Билли.

— Всё хорошо, — быстро ответил рабби Цвек. — Просто спит. Пару недель поспит, и всё будет хорошо. — Собственный оптимизм внушал ему отвращение. — Ваш сын вернулся, я вижу.

— Да, — сказала мать Билли. — У него был силь-

ный приступ. Но теперь у нас уже всё хорошо, правда? — Она погладила Билли по голове. — Со следующей недели снова возьмемся за дело, правда? А то твоей бедной мамочке нечем будет торговать на благотворительной ярмарке.

Билли улыбнулся матери и пожал руку отцу. Рабби Цвека тронул этот формальный жест. Он возвращал обоим мужчинам достоинство, которого мать так настойчиво пыталась их лишить.

Рабби Цвек познакомил их со свояченицей и дочерями. Он помнил, что поначалу невзлюбил родителей Билли, и горько раскаивался в своем презрении. Ему хотелось как-то загладить эту вину, и он решил, что лучше всего подарить им внимание своих родных. Рабби Цвек проводил их к Билли, все оживились, заговорили, он же вернулся к Норману, сел и уставился на него. Нащупал руку Нормана под одеялом, взял его ладонь в свою, стиснул, почувствовал, что сын отвечает на пожатие, и сердце его переполнила радость.

— Это папа, Норман, — прошептал он. — Мы с тобой вместе.

Он сжал руку сына, тот снова ответил, и рабби Цвек почувствовал, что не вынесет такой радости. Но тут его спину пронзила боль, и он со

стоном повалился на кровать.

Белла бросилась к отцу, а тетя Сэди, сообразив, что происходит, выбежала из палаты, чтобы позвать на помощь. Эстер по-прежнему сидела возле Билли, не в силах пошевелиться. Тетя Сэди привела Макферсона и двух санитаров. Они осторожно подняли рабби Цвека, уложили на носилки; он стонал, хотя боль уже отступила. Санитары подхватили носилки и двинулись к выходу из палаты. Тетя Сэди шагала рядом с рабби Цвеком, Белла шла следом.

— Идем. — Белла обернулась и протянула руку к Эстер. Ей вдруг сделалось жаль сестру. Живых она упустила, если можно так сказать; оба плода ее прощения лежали недвижно, безмолвно. Эстер взяла Беллу за руку, точно послушница.

Они приблизились к двери, и рабби Цвек взмахнул рукой; санитары остановились, Макферсон наклонился к носилкам, пытаясь расслышать, что рабби Цвек силится сказать. Потом, не столько расслышав, сколько догадавшись, велел санитарам развернуть носилки, чтобы рабби Цвек бросил последний взгляд на сына. Белла и Эстер держали отца за руки, он же, не отрываясь, смотрел на то единственное, что оставлял им в наследство. Лишь ради него он жил, его он любил,

и эта любовь теперь его убивала.

19

Рабби Цвека отнесли в отдельную комнатку в конце коридора. Положили на кровать и стали ждать, когда придет врач. Рабби Цвек порывался с ними заговорить, но они его успокаивали.

— Береги силы, — упрашивала тетя Сэди.

— Чего ради? — пробормотал он, отыскал взглядом Макферсона среди собравшихся у кровати и добавил: — Спасибо.

— Когда уже придет врач, — сказала Эстер, отказываясь признавать естественные последствия случившегося. Она видела, что Белла смирилась и взяла отца за руку, чтобы не отпускать до самого конца. Неожиданно он улыбнулся, и тетя Сэди погладила его по голове.

— Вот в каком месте мне выпало умереть, — пробормотал он. — И кто теперь *мешуге*?

Они умоляли его помолчать, но ему нужно было высказаться. Он сделал им знак подойти ближе, и они потянулись к нему, принялись пожимать его руки, плечи, словно перекачивали в него собственные жизненные силы.

— Белла, — прошептал он, — Эстер, Сэди, по-

дойдите. Прочитайте со мной *Шма*.

Белла с выверенной долей скорби уже приняла, что отец умирает. И завершение трудов тети Сэди почти всегда неминуемо сопровождалось подобной сценой. Поэтому просьба рабби Цвека ни ту ни другую не испугала. Но Эстер заупрямилась.

— Не нужно, папа, — сказала она. — Ты не умрешь. Не сдавайся. Ты оправишься, как после прошлого приступа.

— Совсем как Норман, — негромко произнес рабби Цвек. — Поправляется, а потом всё сначала. Сколько раз я уже умирал. Я устал. Пожалуйста, давайте вместе прочитаем *Шма*. Белеле, начинай.

Вот так они обменялись ролями, которые играли всю жизнь: прежде он был их учителем, он направлял их. Теперь же просил Беллу направить его. И тем самым назначил своей преемницей: кому же еще и возглавить семью, как не той, кто ведет молитву.

— Шма, — тихо проговорила Белла.

Рабби Цвек повторил за ней, а следом и Сэди.

— Не надо, пожалуйста, не надо, — перебила Эстер.

— Повторяй за нами, Эстер, — попросил рабби Цвек. — И тебе станет легче.

Слова пересыхали у нее во рту, но одними губами она все-таки выговорила последнее «нет».

— Шма Исраэль, — произнес рабби Цвек, голос его окреп, и он, как встарь, повел молитву, и паства хором повторяла за ним, — Адонай Элоэйну Адонай эхад.

— Слушай, Израиль, — проговорила Сэди, вероятно для Макферсона, который понуро и смущенно стоял в изножье кровати, — Господь — Бог наш, Господь один!

И Макферсон повторил за ней молитву. Ему тоже хотелось проводить рабби Цвека.

Никто из них не заметил, как вошел врач. Да теперь это было уже и не важно. Они равнодушно смотрели, как он приблизился к кровати. Дочери убрали руки от рабби Цвека, освободили место для холодного инструмента, который врач приложил к груди их отца.

— Оставьте, оставьте, — пробормотал рабби Цвек. — Он услышал мою *Шма*. Он согласен. — На лице его мелькнула слабая улыбка. — Спасибо, — добавил он.

Врач убрал стетоскоп. Взглянул на Беллу, единственную, кого рабби Цвеку не было видно, и покачал головой. Она кивком поблагодарила его. Врач отвел Макферсона к двери, пошептался с

ним и вышел, не обернувшись.

Три женщины снова подступили к кровати и взяли рабби Цвека за руки.

— Я посплю, — сказал он и почувствовал, как его окутывает их мучительная скорбь. — Я немного посплю, — поправился он, повернул голову на подушке и закрыл глаза.

Он что-то забормотал, и Белла наклонилась к отцу.

— Сара, — услышала она, потом еще раз и затем, хрипло: — Прости меня, Норман. Прости. Это я во всём виноват. — Рабби Цвек открыл глаза и оглядел тех, кого ему предстояло покинуть. Две печальные незамужние дочери, одна в праведном шейтле, а в другой комнате его сломленный сын. — Я не справился, — прошептал он. — Простите.

Он снова закрыл глаза, и они поняли, что остается лишь ждать. Они держали его за руки, но не шевелились, чтобы не нарушать его уединения.

Макферсон вышел из комнаты — не для того, чтобы оставить их одних, а потому, что, если бы он остался, сотрясающие его беззвучные рыдания могли вырваться и смутить их покой. Он видел рабби Цвека всего несколько раз, когда тот навещал Нормана, но его бесконечно трогали его

растерянность, детский оптимизм и неколебимая вера. Теперь он умирал, и кончина его, хоть и лишенная страха, не была мирной. Рабби Цвек понимал, что оставляет родным хаос, и винил за это себя.

Они сидели в комнате. День тянулся долго: оставалось лишь ждать и смотреть. У постели Нормана они подмечали малейшую перемену в лице, каждое шевеление — и откликались на них. Здесь же тело лежало недвижно, и легкое прерывистое дыхание не смущало его покоя. Они считали выдохи и с трепетом ждали следующего. Каждая мысленно загадала определенное число выдохов, и если ему удастся преодолеть это число, значит, он будет жить.

Эстер заплакала, Белла принялась ее утешать, совсем как Нормана, когда мать умерла. Белла как никто умела утешить и поддержать, и у нее промелькнула мысль, что ей предстоит пережить их всех.

Они долго стояли подле его кровати. Время от времени гладили его по голове. В виске бился слабый пульс, висок был холодный. Белла прижимала пальцы к виску, словно чтобы не дать пульсу исчезнуть. Тетя Сэди устало покачала головой: ей не раз уже доводилось видеть всё это.

Открылась дверь, они обернулись и, не увидев никого на пороге, сочли, что дверь открылась сама. Наверное, ангел смерти пришел подвести черту, решили они, посмотрели на рабби Цвека, но тот еще дышал. Они перевели взгляд на дверь и увидели Билли в болтающемся халате: Билли робко шагнул к кровати. Перевел взгляд с рабби Цвека на женщин.

— Мне очень жаль, — сказал Билли. — Замечательный был человек. Называл меня Уильямом.

Он встал на колени в изножье кровати, начал беззвучно молиться и молился долго. Женщины на него не смотрели. С одной стороны, их растрогал его поступок, с другой — им было не по себе, что отца провожает молитва душевнобольного. Билли закончил и посмотрел на спящего.

— Спасибо, — сказал он и вышел из комнаты.

Едва он ушел, как Белла и остальные снова прочли *Шма*, громко и четко, чтобы очистить палату от богохульства, которое принес Билли и оставил в изножье кровати. Рабби Цвек отошел, подкрепленный и Господом, и Его Сыном, и женщины убрали руки.

В палате в конце коридора Норман дернулся во сне. Вздрогнул, проснулся, не обнаружил рядом никого, кто мог бы его разбудить, решил, что это

дурной сон, и со вздохом уснул.

20

Никто не нарушил глубокий сон Нормана. В положенное время его разбудили и постепенно, за несколько дней вернули к обычной жизни. И потом уже сообщили.

Из комнаты медбратьев Норман вернулся в палату. Угрызения совести и раскаяние — следствие успокоительных — лишь усиливали боль от страшного известия о смерти отца. Если бы он буянил, ему легче было бы перенести случившееся. Теперешнее его состояние, когда хотелось искупить грехи и загладить вину, тоже лишилось смысла. Каяться слишком поздно. Сейчас он бы с радостью принял на себя давнюю роль козла отпущения, но и в этой мысли утешения было мало. Он закрыл лицо руками. В комнате медбратьев он внимательно слушал объяснения врача. Вопросов не задавал: просто стоял, накапливая слова, чтобы теперь, в одиночестве, наконец сложить их вместе.

И он сложил их, сказал себе: «Мой отец умер», а чуть погодя — «Папа умер», но что-то мешало ему разрыдаться. Он пытался понять, почему же

нет слез. Быть может, их сдерживает то, что отец скончался в таком месте, и пережитый им позор, глубокое унижение оттого, что он не добрался до собственной кровати. Норман вынужден был признать: то, что отец умер здесь, а не где-то еще, — а может, и сама отцова смерть — его вина. Чтобы хоть как-то ослабить гнетущее чувство вины, он силился вспомнить всю радость, которую дарил отцу. Он был благодарен за каждое воспоминание, но, как ни душила его скорбь, глаза оставались сухими. Норман представил, как отец лежит в палате, в считаных ярдах от того места, где сам он сидит сейчас. Он проспал его умирание, его смерть, его похороны и траур по нему. Он всё это проспал. И теперь по очереди переживал каждое из этих событий. Он должен их все пережить: это его сыновнее право. Он увидел, как гроб с телом отца опускают в могилу, пока сам он спокойно спит. Он увидел, как Белла сидит на низком стульчике, услышал, как мужчины творят вечерние молитвы, он же, старший сын, беспробудно спал. Но и теперь слезы не пришли.

Кто-то коснулся его плеча. Он поднял глаза и увидел рассеянную улыбку Билли.

— Я видел его, — сказал Билли. — Он ушел с миром. Я за него помолился. Попросил Христа

принять его в рай.

Норман стряхнул его руку, стиснул зубы и задрожал от ненависти. Какое право имел этот безумец присутствовать при кончине его отца? Какое он имел право молиться за него? Да еще и Христу, господи Иисусе, хотя это имя почти семьдесят лет застревало у отца в глотке.

Билли смутился.

— Я пошел за тебя, Норман, — промямлил он. — Ты спал, и я пошел за тебя.

Норман коснулся его руки. Он уже жалел о своей неблагодарности. Ему отчаянно захотелось помолиться. Он почувствовал, что с молитвой придут и слезы. Но как читать кадиш по отцу, если не способен вложить душу в молитву? Сколько лет минуло с той поры, подумал Норман, когда я истинно верил; когда, в какую минуту я утратил веру? Он вспомнил юность и осознал, что разуверился постепенно, и отчасти из-за глубокой убежденности отца в том, что евреи — избранный народ. Норман так и не смог это признать и отказывался признать теперь, даже если бы после этого сумел помолиться, — и он проклял еврейского Бога за то, что тот сковал его язык.

В душе его вскипел гнев, он встал у кровати.

— Боже милостивый, — воскликнул он и до-

бавил с удвоенным пылом, дабы смягчить свою ярость: — Боже милосердный! Почему Ты избрал нас? Потому что мы — Твой народ и Ты избрал нас козлом отпущения для Твоих неврозов? Ты избрал нас, чтобы возложить на нас Твой гнев, Твою ревность, Твои надежды, Твое всемогущество, Твою милость и жалость, Твою отъявленную кровожадность?

Норман сел на кровать. Его трясло. Он взглянул на Билли и осознал тщетность своих проклятий. Они с Билли — соседи по сумасшедшему дому, и ни одному слову их не разделить. Они оба превыше Бога, превыше Иисуса, превыше любого отбора, ведь они — избранные и отчитываются только перед собой.

Но тогда почему они здесь? Почему именно они, а не другие — в элита? И он задумался о себе с холодной логикой тех лет, когда был еще в здравом рассудке. Он вспомнил и о семье, потому что, надо признать, они, и никто боле, упрятали его сюда, когда бремя, возложенное на него, оказалось невыносимым.

— Белла никак не повзрослеет, — сказал он себе, — и я несу эту ношу. Эстер вышла за чужака, и я несу эту ношу. Мой отец, упокой Господи его душу, не справился, и я несу эту ношу. Моя мать

не смогла меня отпустить и в конце концов сломала мне хребет. Все они с неуемным аппетитом высасывали из меня соки. Кто я, кроме как их вместилище? Кто я, кроме как их «событие»? Кто я, кроме собственной унылой оболочки? — Он с мольбой посмотрел на Билли. — Научи меня молиться.

Билли взял его за руку.

— Идем, — сказал он, — вместе преклоним колени.

Норман вздрогнул: это кощунство ему претило. Коленопреклоненная молитва — богохульство, как слово «Иисус», и ради памяти отца он обязан воздерживаться от таких слов, как воздерживался сам отец. Его охватило замешательство. Все, что в нем было еврейского, вдруг мучительно пробудилось. Но рядом с ним был Билли, а у Билли другой бог, как и у всех окружающих — и у того, кто грустит в углу, кто давным-давно торчит в этом углу, и у того, кто не отходит от умывальника и всё время моет руки, и у того, кто вечно мурлычет себе под нос, но ничего не говорит. Норман увидел их всех, и в них во всех он увидел собственное отчаяние и одиночество. К глазам его подступили слезы, и в эту минуту он наконец осознал, что отец его оставил, что он теперь один

и оплакивать нужно его самого и тех, кто вокруг. Тут слезы наконец пробились сквозь преграду, хлынули из глаз, и он разрыдался, точно осиротевший ребенок.

Он выпустил руку Билли. Он должен молиться сам. Он должен молиться из собственного смятения, собственными унаследованными дозволенными словами. Он хотя бы попробует. Он соединил ладони, довольный тем, как естественно и легко вышел этот давно забытый жест. Он закрыл глаза, надеясь, что старая ветхая вера снизойдет на него. «Шма», — начал он на иврите, чтобы стало понятно, к какому богу он обращается, но вспомнил, что рядом Билли, и решил помолиться за него. «Иисусе», — прошептал он и тут же покосился на того, от чьего лица обращался к Иисусу. Он был рад, что так называемое безумие позволяло обойти ребяческую непристойность этого слова. «Иисусе, — проговорил он и добавил: — Иисусе сладчайший». Его душили рыдания: он оплакивал не только отца, чьей мирной кончине он почти что завидовал, но и себя, и Билли, и всех, кто вокруг, кого мало что связывает с жизнью. Он обвел взглядом палату и почуял дух запустения. Ибо у одиночества есть

свой запах, как свой запах есть в доме плача[23]. Он посмотрел на Билли, потом на шахматиста, на того, кто никак не может проглотить слюну, на рукомоя, на того, кто мурлычет себе под нос, на угрюмого молчуна в углу. Вспомнил Министра и соединил их всех в своей молитве.

— Ты, — крикнул он к потолку, — и ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду. — Он в слезах осел на кровать. — Боже милостивый, — продолжал он: в конце концов, так можно назвать кого угодно. — Призри на нас, избранных и охладевших.

[23] Примечания: 23

Ср. в Книге Екклесиаста: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу» (Ек 7:2).

Бернис Рубенс (1928–2004) родилась в Уэльсе, в еврейской семье выходцев из Литвы и Польши, осевших в начале XX века в Великобритании.

После окончания университета Уэльса преподавала в школе в Бирмингеме, затем ушла в кинодокументалистику. Ее писательская карьера началась в 1960 году с публикации романа *Set One Edge*. Деля несколько лет себя между литературой и кино, в последние годы жизни Рубенс сосредоточилась исключительно на книгах.

«Избранный» (1970) был отмечен Букеровской премией. Были успешно экранизированы ее романы *I sent a Letter to My Love* и *Madame Sousatzka*, поставленный Джоном Шлезингером с Ширли Маклейн в главной роли.

Бернис Рубенс скончалась в 2004 году, вскоре после завершения работы над книгой воспоминаний *When I Grow Up*, которая была опубликована уже посмертно, в 2005 году.

На русский язык были переведены и опубликованы два романа Бернис Рубенс, «Пять лет повиновения» и «Я, Дрейфус».

Норман когда-то в прошлом — вундеркинд, родительский любимчик и блестящий адвокат… в сорок один год — наркоман, почти не выходящий из спальни, весь во власти паранойи и галлюцинаций. Психиатрическая лечебница представляется отцу и сестре единственным выходом. Решившись на этот мучительный шаг, они невольно выпускают на свободу мысли и чувства, которые долгие десятилетия все члены семьи скрывали — друг от друга и самих себя.

Роман «Избранный» принес Бернис Рубенс Букеровскую премию в 1970 году, но и полвека спустя он не утратил своей остроты. Рубенс безжалостно и с глубоким сочувствием исследует отношения людей, тесно связанных традициями, чаяниями, чувствами вины и долга, любовью и ненавистью. Этот искусно размотанный автором клубок противоречивых характеров и судеб — семья, крепко спаянная взаимным отчуждением и взаимной зависимостью.

«Глубокое здравомыслие, сострадание и гротесковый юмор».

Daily Telegraph

ИД «Книжники»
+7 499 754 5005
www.knizhniki.ru
knizhniki.ru
knizhniki_ru

